

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

The background of the cover features a detailed, monochromatic illustration of a Georgian town. The town is built on a hillside, with numerous buildings of varying heights and styles, including domed structures. A river or canal winds through the town. The landscape is dotted with tall palm trees. In the upper right corner, there is a small logo for the National Library of Georgia, with the text 'საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა' (National Library of Georgia) written in Georgian.

1978-2

Ежемесячный литературно-художественный
и общественно-политический журнал



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

1978
2

Орган Союза писателей Грузии

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ПОЭЗИЯ

РЕВАЗ МАРГИАНИ	19
СИЛУАН ТОПАЛЬСКИЙ	26
МИХАИЛ КВЛИВИДЗЕ	60

ПРОЗА

НОДАР ДУМБАДЗЕ. Hellados. Рассказ	3
НОДАР ЦУЛЕЙСКИРИ. Камень Давида Строителя. Рассказ	28
УШАНГИ РИЖИНАШВИЛИ. Три рассказа	64

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ГУРАМ ГВЕРДЦИТЕЛИ. Неодолимость любви	83
ГУРАМ АСАТИАНИ. Наследие великого эстонца	162

РЕЦЕНЗИЯ ПИСАТЕЛЯ

ГУРАМ ДОЧАНАШВИЛИ. Свечение добра	93
-----------------------------------	----

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор — Гурам АСАТИАНИ

Тенгиз БУАЧИДЗЕ, Ги-
ви ЖВАНИЯ, Марк ЗЛАТ-
КИН, Исидор КОЗАЕВ, Ге-
оргий ЛОМИДЗЕ, Георгий
МАРГВЕЛАШВИЛИ, Вла-
димир МАЧАВАРИАНИ,
Михаил МРЕВЛИШВИЛИ,

Гурам ХАРАИДЗЕ (заме-
ститель главного редактора),
Владимир ХОМУТОВ (от-
ветственный секретарь), Эм-
мануил ФЕЙГИН, Георгий
ЦИЦИШВИЛИ.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ

„ლიტერატურნაია გრუზია“



(რუსულ ენაზე)

— ყოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური უფნად

ბაზოლის 1957 წლის იანვარი № 2 თებერვალი, 1978

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА

ВЛАДИМИР ЛЕОНОВИЧ. Радость неизвестности 104

К 60-ЛЕТИЮ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

МАИЯ НЕМИРОВА. В бою и в науке — на переднем крае 116

АЛЕКСАНДР КИРЮХИН. Десять дней того октября 122

ГАЛАКТИОН ПАЙЧАДЗЕ. Плечом к плечу 130

1500 ЛЕТ ГРУЗИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

САРГИС ЦАИШВИЛИ. Второе рождение памятника 135

НИКО МАРР. Из «Введения» к «Житию Григория Хандзтийского» 143

ГЕОРГИЙ МЕРЧУЛЕ. Житие Григория Хандзтийского 147

НОВЫЕ КНИГИ 165

ХРОНИКА 188

ОБ АВТОРАХ ЭТОГО НОМЕРА 190

Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются

НАШ АДРЕС:

380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отдел прозы — 93-31-43, отдел поэзии и искусств — 93-31-43, отдел критики и литературоведения — 93-65-19, отдел публицистики и очерка — 93-65-19.




● *Р а с с к а з*

- Джемал скрипка!
- Янгули сопляк!
- Джемал свинья!
- Янгули паршивый грек!
- Джемал гнилой!
- Молодец против овец!
- Осел!
- Мочалка!
- Хулиган!
- Тбилисский слонтяй!
- Шэни дэда ватире, Янгули!
- Имана су ине протикаса, Джемал!

* * *

Янгули был сыном сухумского грека Христо Александриди. Тонкий как щепка, широкоплечий, с прямым красивым носом, черными как уголь глазами и длинными, до колен, руками, четырнадцатилетний Янгули наводил ужас на всех сверстников в своем квартале. Дрался он как-то по-особому. Ему ничего не стоило отдубасить сразу двух-трех парней, не дав им даже шевельнуть рукой. Был он быстр и ловок, как кошка и крепок как камень. Зимой и летом Янгули носил распахнутую на груди черную сатиновую рубаху.



Янгули с отцом жили на Венецианском шоссе, у реки Чалбаш. Матери своей Янгули не помнил — она скончалась рано. Все богатство Александриды состояло из крошечного огорода, коровы и серого ослика. Зарабатывали на жизнь, торгуя зеленью, молоком и мацони.

Янгули нигде не учился. Помогал отцу в хозяйстве, изредка развозил на ослике мацони по соседям. Все остальное время, предоставленный самому себе, он коротал на улице. У железнодорожного переезда подкарауливал возвращавшихся из школы мальчиков, обыскивал их карманы, извлекал оттуда табак и мелочь, блестящие цепочки, перочинные ножи и цветные карандаши. На другой день те же предметы по скидке продавал тем же ребятам, играл с ними на вырученные деньги и, обобрав незадачливых партнеров, возвращался домой с набитыми карманами.

Так продолжалось изо дня в день...

Четырнадцатилетний диктатор безраздельно властвовал над населением Венецианского шоссе и в том числе над моим двоюродным братом Кокой.

Одним словом, Янгули был признанным главарем квартала.

Наше знакомство началось осенью тридцать восьмого. Тетя моя, Нина, привезла меня, осиротевшего, из Тбилиси, на второй же день отправилась вместе со мной к известной во всем Сухуми учительнице музыки Елене Михайловне Навродской и бросилась ей в ноги.

— Сжальтесь над сиротой! Мать водила его на скрипку... И вдруг — ни матери, ни скрипки... Возьмите его... Назначьте любую плату...

Навродская проверила мой слух, проэкзаменовала по чтению рот, осмотрела пальцы, пощупала мозоль под подбородком. Потом, поколебавшись немного, вынесла из другой комнаты скрипку и велела настроить ее. Тетя напряглась, забеспокоилась, но вздохнула облегченно, когда я неплохо справился с заданием.

— А теперь сыграй «Сурок» Бетховена, — Елена Михайловна уселась в кресло и приготовилась слушать. При упоминании Бетховена тетя расстроилась.

— Уважаемая Елена Михайловна, может, выбрать другого композитора, поменьше? — попросила она Навродскую, вытирая платком вспотевший лоб.

— Как, он не играет «Сурка»? — брови Навродской удивленно взметнулись вверх.

Настала долгожданная, блаженная минута моей жизни. Мне представлялась возможность раз и навсегда избавиться от жестокого музыкального ига, под которое я шестилетним ребенком попал по воле матери и которое безжалостно давило на меня все эти годы. Стоило мне сейчас произнести единственное магическое слово «нет!», и моим мукам пришел бы конец. Но... то ли умоляющий взгляд тети, то ли удивление Навродской, то ли честолюбие тринадцатилетнего мальчишки — какая-то неведомая сила заставила меня взять смычок и... комната наполнилась простой и гениальной мелодией «Сурка»...

Я закончил играть. Глаза тети были полны слез, а на лице Навродской сияла довольная улыбка.

Елена Михайловна согласилась...

Возвращаясь домой, у железнодорожного переезда мы увидели сидевшего на мостовой мальчика. Куском кирпича он разбивал орехи.

— Здравствуйте, Нина Ивановна! — поздоровался он с тетей.

— Здравствуй! — коротко ответила она.

— А где Кока?

— В школе, где же еще! Это ты бездельник...

— А это кто?

— Не твое дело! — отрубил тетя, подтолкнув меня.

Янгули протяжно свистнул. Мы продолжили путь.

— Э-э-й, скришка!

Я удивленно оглянулся.

Сощуривав один глаз и высунув язык, Янгули правой рукой водил по левой, подражая игре на скрипке. Я разозлился.

— Обезьяна! — крикнул я, пригрозив кулаком.

— Завтра загляни ко мне, дам дрова попилить! — расхохотался он.

— Ты не перестанешь хулиганить? — недовольно покачала головой тетя.

— Кто это? — спросил я.

— Грек он. Янгули. Отец его носит нам молоко... Чтоб ноги твоей не было рядом с ним! Хулиган... Днюет и ночует на улице.

Я еще раз оглянулся. Янгули раскалывал орехи и вызывающе улыбался.

* * *

Тринадцатая школа, куда определила меня тетя, стояла за железнодорожным полотном, и потому мои встречи с Янгули у переезда стали неминуемыми.

Почти месяц он не обращал на меня никакого внимания. Он был занят обычным делом — играл со своими «соратниками» в бабки на деньги. Но я заметил, что каждый раз при моем появлении Янгули обязательно набрасывался на кого-нибудь из своего окружения: то нахлобучивал на глаза шапку, то пинал ногой. И при этом искоса поглядывал на меня.

В свою очередь я делал вид, как будто меня ничуть не интересуют ни Янгули, ни его братья. На самом же деле мне не терпелось смешаться с ребятами, показать им, на что я способен. Но пока в квартале я был новичком, без друзей и товарищей, рядом со мной, кроме Коки, не было никого, и поэтому я не решался подходить к головорезам Янгули. Одно я чувствовал ясно: нейтральная полоса между нами, словно тлеющий бикфордов шнур, постепенно сокращалась, огонь приближался к запалу, и в один прекрасный день должен был произойти взрыв.

Спустя ровно месяц этот день наступил...
Елена Михайловна занималась с учеником, я сидел в передней, дожидаясь своей очереди.

На круглом столике стоял аквариум, и в нем между водорослей, красивых раковин и камней плавали золотые рыбки. Они смешно раскрывали рты, выпуская воздушные пузырьки, и мне почему-то показалось, что рыбки страшно проголодались. Я быстро извлек из кармана завернутый в газету бутерброд, раскрыл черный хлеб и сыр и бросил в аквариум. Рыбки сперва шарахнулись в сторону, укрылись за камнями, потом, словно догадавшись о моем добром намерении, вышли из-за укрытия и набросились на пищу.

С наслаждением наблюдал я за поднывающимся в воде золотым вихрем. Аквариум бурлил как миниатюрный океан. Постепенно волнение улеглось. Насытившиеся рыбки чинно перемещались в воде, по очереди подплывали к стенкам аквариума и как бы в знак благодарности плавно раскачивались передо мной, чуть шевеля хвостами. Вдруг одна из рыб — самая крупная — перевернулась вверх животом. Ее примеру последовали и другие рыбки. Вскоре все рыбки в аквариуме, судорожно двигая жабрами, плавали на спине. Я запустил руку в воду и стал переворачивать обитателей аквариума, но они тотчас же вновь ложились на спину. Я понял, что произошло нечто непоправимое. Спустя несколько минут жизнь в аквариуме замерла. Отравленные золотые рыбки всплыли на поверхность воды... Я оцепенел от ужаса. Потом схватил футляр со скрипкой и бросился к выходу, но было уже поздно. Из комнаты вышла Елена Михайловна, провожавшая ученика.

— Войди! — обратилась она ко мне.

Я стоял словно вкопанный.

— Входи же! — повторила она, слегка подтолкнув меня к двери.

Я не сдвинулся с места.

— Ты что, не выучил урока? — строго спросила Елена Михайловна.

Я не ответил. Тогда она удивленно посмотрела на меня, проследила взглядом мой взгляд и... произошло то, что могут представить себе разве только ихтиологи. У Елены Михайловны подкосились ноги, посинели губы, она плюхнулась в кресло и, еле выговаривая слова, произнесла дрожащим голосом:

— Ты... Что ты... наделал, паршивый мальчишка?!

— Я не знал, Елена Михайловна... Я думал... Я только накормил их черным хлебом и сыром...

— Отравил... — простонала она в отчаянии. Потом зарылась головой в ладони и зарыдала так, словно кто-то зарезал ее родное дитя.

Помню, я что-то лепетал, оправдывался, старался утешить убитую горем женщину. Напрасно!.. Она встала, подошла к аквариуму. По одной доставала она из воды бездыханных рыбок, целовала их и снова опускала в аквариум. И причитала:

— Милые мои, золотые, ненаглядные... Отравили, убили вас!



Потом она повернулась ко мне. Лицо ее было перекошено, подбородок дрожал, из глаз ручьями лились слезы. Вдруг она размахнулась и закатила мне такую оплеуху, что я с трудом удержался на ногах.

— Вон из моего дома, варвар! Чтоб ноги твоей здесь не было больше!.. Вон!

Я молча проглотил и оплеуху, и подступившие слезы, взял свою скрипку и вышел.

Ошеломленный, опозоренный, полуживой шагал я домой. У переезда, как всегда, забавлялась Янгулина братия. Меня потянуло к ним, — тем более что идти домой сейчас не имело смысла. Поровнявшись с ребятами, я замедлил шаги, потом нагнулся и стал возиться со шнурком ботинка.

— Э-э-й, скрипка!

Я узнал голос Янгули.

— Чего тебе?

— Поди сюда!

— Есть дело — подойди сам!

Янгули удивленно посмотрел на еще более удивленных ребят и медленно направился ко мне.

— Ты разве не знаешь, кто я? — спросил он вызывающе.

— Знаю! — ответил я, глядя ему в глаза.

— Так почему не идешь ко мне, когда я зову?

— А кто ты такой — звать меня?! — произнес я небрежно, но на всякий случай положил футляр со скрипкой на землю.

Янгули еще раз недоуменно взглянул на ребят, которые, забыв про игру, окружили нас.

— Янгули, покажи-ка ему, кто ты есть! — крикнул один из парней.

— Дай ему, Янгули! — добавил другой.

— Одну пощечину, Янгули! — посоветовал третий.

— Посмотрим сперва, каков он молодец! — сказал Янгули и легонько потрепал меня по щеке.

— Руку! — прикрикнул я.

— Ты смотри-ка! — удивился Янгули.

— Ну и смотри!

— Папироску! — протянул вдруг руку Янгули.

— Не курю!

— Деньги!

— Нет денег!

— Выверни карманы!

— Выворачивай сам!

Ребята стали перешептываться. Янгули опешил, но тут же взял себя в руки и нагнулся к скрипке.

— Убери лапу! — крикнул я и тоже потянулся к скрипке, но Янгули опередил меня, раскрыл футляр, достал инструмент и протянул его мне;

— Ну-ка, сыграй, развлеки ребят!

— Не играю!

— Зачем же тогда таскаешь этот ящик? Ты что, бесплатный осел?

— Отдай скрипку!

Янгули убрал скрипку за спину и попятился.

— Петя, Фема, Курлик, Панчо, Гена! Вы слышали скрипку? — обратился он к ребятам. Те громко заржали.

— Только по радио! — крикнул Петя.

— Давай, Янгули, покажи!

Раньше всех звук моей скрипки услышал я сам: Янгули размахнулся и плашмя опустил ее на мою голову.

— Зр-р-р... Чхи... — раздался резкий треск, и скрипка переломилась надвое. Нижняя ее часть, словно отрубленная рука, повисла на верхней, издавая жалобный стон.

Ребята с хохотом повалились на землю.

Сердце у меня замерло, кровь бросилась в голову, уши заложило. Я ничего не слышал, не чувствовал, видел лишь корчившихся в приступе неумного смеха ребят, разбитую скрипку и выступающую вперед худую челюсть Янгули. И вдруг я изо всех сил ударил кулаком в эту челюсть.

Когда я вновь обрел слух и сознание, Янгули сидел на мостовой, с недоумением смотрел на меня и правой рукой растирал челюсть. Ребята молчали.

Я повернулся и пошел домой.

В тот же вечер Петя — наш сосед и правая рука Янгули — принес к нам домой искалеченную скрипку со своим футляром, бросил у входа и убежал.

Взбешенная тетьа с воем и проклятиями извергла хулу сперва на Петю, потом на Янгули Александриди и, наконец, на меня:

— Чтоб тебе провалиться, урод этакий!.. Чтоб ты провалился, нечистая твоя душа.. Но чего мне требовать от тебя и твоего отца — зеленщика! Откуда вам знать цену этой скрипке! Что Паганини и Страдивари, что пильщик дров — вам все одно!.. Янгули Александриди! Вот кого следовало бы четверговать, изжарить на медленном огне! Да что там! О какой музыке толковать с болваном, выросшим под рев осла!.. Это все он, поселившийся в моем доме новый хулиган! Его бы повесить в первую очередь! Несчастная моя сестра, моя Анико! Мало мне было своего горя, еще и этого бандита ты подбросила!.. Горе мне, несчастной!..

В этот день завершилась моя музыкальная одиссея. Началась новая эра в моей жизни — борьба за существование..

* * *

На второй день Янгули и Петя встретили нас у ворот школы. Сердце у меня екнуло, но я прошел мимо, как бы ничего вчера не бывало.

— Скрипка! — голос был Петин.

Я остановился.

— Поговорим! — подошел ко мне Янгули.

— О чем?

— Здесь неудобно, — он покосился на расходившихся после занятий школьников и учителей.



— А где же? — спросил я.

— За переездом, под мостом.

— Пожалуйста!

Янгули шел впереди, я и Кока — за ним. Петя следовал сзади («Чтобы не дать нам убежать», — подумал я).

— Пропали! — проговорил обескураженный Кока. Он был моложе меня на два года, к тому же отлично помнил оплеухи Янгули.

— Не бойся! — утешил я его, хотя и самому было не по себе.

Когда мы стали спускаться по откосу насыпи железнодорожного полотна, Кока чуть было не удрал — я успел схватить его за руку:

— Не смей! Хочешь опозориться?!

— Да ты не знаешь его! Накостыляет он нам!.. — простонал Кока жалобно.

— Ну и пусть! Не убьет же!

Кока потащился за мной, словно теленок, отданный на закланье.

Янгули остановился под железнодорожным мостом, огляделся. Вокруг не было ни души.

— Ну, пришли. Что тебе нужно? — спросил я.

Янгули с минуту молчал, потом сказал:

— Ты вчера опозорил меня перед ребятами.. Крепко ударил, неожиданно.. Я не смог встать, и потому ты не получил своего.. Хотел встать, да не смог..

Спокойная откровенность Янгули сбила меня с толку.

— Я — главарь, вожак в квартале, главарем и останусь... — продолжал он.

— Ну и хорошо, а меня оставь в покое! — ответил я также искренне.

— Будь ты старше меня — пожалуйста! Но ты моложе, и ты ударил меня.. Так не пойдет! В квартале должен быть один вожак, ты или я!

— Сказал же тебе, не нужно мне ничего! — повторил я.

— Нет, это не дело.. Мы должны драться!

— Пожалуйста! — согласился я.

— Только честно!

— Как это — честно?

— Пете и Коке не вмешиваться! Не ругаться! Камнями не бить! Упавшего не трогать!

— Идет!

— Если сегодня одолею я, то завтра еще раз побью тебя перед вчерашними ребятами. И на этом покончим.

— Ну это еще посмотрим, кто кого..

Янгули скинул черную сатиновую рубаху. Я вздрогнул, увидев его сильную, широкую грудь. К тому же меня почему-

то смутило вытатуированное над левым его соском синими латинскими буквами слово

Hellados

Янгули по-гречески сказал Пете несколько слов. Тот промолчал. Янгули повторил. Петя нехотя извлек из карманов два увесистых камня и швырнул их в сторону. Янгули перевел взгляд на Коку. Тот поспешно вывернул пустые карманы.

— Начнем! — сказал Янгули.

— Начнем! — сказал я.

Схватка продолжалась не больше двух-трех минут.

Я дрался сомкнутыми в кулаки руками, Янгули бил всей пятерней. Мои удары отдавались глухо, его удары трещали на всю округу. Петя подбадривал Янгули по-гречески, Кока подсказывал мне по-грузински:

— Головой, Джемал, головой его!

Я сам понимал, что значит в драке удачный удар головой, но подступиться к Янгули было не так-то легко: гибкое, потное его тело каждый раз выскользало из моих рук.

Еще одна сильная оплеуха, и у меня из носу хлынула кровь. Пока я утирал кровь, Янгули угостил меня еще одним ударом, и я опустился на землю точно так, как он вчера, с той, однако, разницей, что я еще мог встать, а Янгули вчера так и не поднялся.

Но исход поединка не вызывал сомнения: я проиграл. Янгули выждал немного и, убедившись, что я не собираюсь продолжать бой, стал натягивать рубаху. И я еще раз прочел на его груди голубое слово: Hellados.

— До завтра! — сказал Янгули, и тут только я заметил, что верхняя губа у него вспухла и левая бровь рассечена.

Янгули и Петя поднялись на насыпь и зашагали по полю, я с Кокой остался под мостом.

— Ничего, ему тоже досталось дай бог! — утешил меня Кока.

— Все равно завтра я побью его! — сказал я.

— Посмотрел бы на себя в зеркало! — вздохнул Кока.

— Что, сильно лицо опухло? — спросил я.

— Как сдобная булка! — Кока отвел глаза.

— У, сволочь!

На сей раз тетя не причитала. Она лишь приложила к моему лицу холодные примочки. А на второе утро она так же хладнокровно разбила на голове Христо Александриди горшок с мацони, как Янгули — скрипку на моей. И пригрозила его испорченному сыну-хулигану вечным тюремным заключением за столь варварское избиение ребенка.

* * *

Назавтра я не пошел в школу — «лечил» свои синяки и ссадины. На третий день у переезда мы увидели ребят почти со всего квартала, кроме Янгули. Они встретили меня и Коку свистом и улюлюканьем.



— Ну как, Скрипка, причастили тебя?
 — Теперь-то отстанешь от него? Или хочешь, чтобы тебя убили?

— Здесь тебе не Тбилиси!
 Вся «биржа» знала о моем неудачном бое.
 Я не обратил внимания на реплики. Не спеша положил сумку наземь, уселся сам и стал дожидаться Янгули.

— Идет! — крикнул вдруг кто-то.
 — Ребята, сейчас начнется цирк! — сказал другой.
 — Здорово! — поздоровался со всеми Янгули и тут увидел меня. Глаза у него расширились от удивления.

— Янгули, видишь, булка сама пожаловала сюда. Ешь ее! — подначил Петя.
 — С чем будешь есть, Янгули, с икрой или маслом?
 Янгули повелительным жестом потребовал тишины, а затем, словно вождь племени, обратился к своей ватаге с исторической речью:

— Ребята! Я, Янгули Александриди, избранный вами атаман, обращаюсь к свободным сыновьям рода Венецианского шоссе! Перед вами стоят бледнолицый тбилисский простофиля и его двоюродный брат — изменник родины и предатель племени, сопляк Кока. Вместо того чтобы воспользоваться нашим гостеприимством и великодушием, сей бледнолицый чужеземец вздумал присвоить нашу благословенную землю, наше море, наши реки, золото, серебро, пастбища...

— Хватит, балагурить! — прервал я Янгули. — Давай драться!

Янгули пристально уставился на меня и продолжал:
 — Сейчас я вам покажу, как из бледнолицых делают котлеты!

— Не гримасничай! Начнем!
 — Эй, ты, сопляк! — обратился Янгули к Коке. — Беги, звони в «скорую», пусть спустя пять минут приедут и заберут твоего двоюродного брата. К тому времени он будет полный инвалид.

Ребята залились хохотом.
 — Сегодня «скорая» заберет тебя! — сказал я и встал. Зрители сомкнули круг.

Янгули что-то шепнул Пете. Тот начал снимать пояс. «Неужели будет бить ремнем?» — мелькнуло у меня в голове. Петя передал пояс Янгули и вернулся в круг. Янгули гордо оглядел собравшихся и заявил:

— Я с бледнолицым двумя руками драться не буду. Он будет побит одной рукой. Петя, выйди, свяжи мне руку! — Раздались восторженные крики ребят, у меня же тревожно екнуло сердце. Это что еще за фокусы? Петя подошел и опоясал Янгули так, что левая его рука оказалась прижатой к туловищу.

— Перестань паясничать! Вытащи руку! — сказал я.
 — Нет, драться с тобой обеими руками — ниже моего достоинства!

У ребят снова вырвался громкий крик восторга.
 — Ну, так я не буду драться! — я нагнулся за сумкой.
 — Боишься? — спросил Янгули.

— Нет, не боюсь, а не хочу. Вынь руку! Все равно я тебя побью!

— Начинай, а то пожалеешь! — Янгули начал раздвигаться.

— Дай ему, чего ты ждешь! — шепнул мне Кока.

Я упрямо покачал головой. Тогда Янгули подошел и закатил мне пощечину. Лицо у меня вспыхнуло, словно окатили кипятком, но я не шевельнул рукой. Янгули ударил еще раз, потом еще. Я понял, что бьет он вполсилы. Это было похоже скорее на наказание шалуна, чем на избиение противника. Я не отвечал на удары Янгули, и он опустил руку. Я повернулся к нему спиной и, не сказав ни слова, покинул место боя. Ребята молча расступились.

— Эй, Скрипка! — донесся сзади голос Пети, и тотчас же раздался звонкий звук пощечины. Это был сильнейший удар Янгули, удар в лицо Пети.

Я не оглянулся — я плакал, и не хотелось, чтобы ребята видели мои слезы.

Я плакал, но я догадывался: в сегодняшнем поединке победу одержал я.

* * *

Утром, чуть свет, я стоял у ворот Александриды. Христо седлал ослика, Янгули помогал отцу. Увидев меня, он подошел к воротам.

— Что, пришел жаловаться? — спросил он, косясь на отца.

Тот стоял спиной к нам и не видел меня.

— Кто там? — крикнул Христо, не оглядываясь.

— Товарищ.

— Янгули некогда, он идет на базар! — Христо повернулся и, узнав меня, удивился:

— Вы помирились?

— Помирились! — ответил я.

— Ну разве так не лучше? Вы же оба хорошие мальчики! — обрадовался Христо. — Зайди во двор!

— Спасибо, я тороплюсь... Ты когда вернешься?

— Вечером, — ответил Янгули.

— Буду ждать под мостом!

Я ушел.

* * *

Он пришел, молча привязал ослика к забору, снял рубашку, бросил ее на спину ослику, и я вновь прочел на его широкой груди магическое слово Hellados.

Сегодня свидетелем нашего поединка был только ослик. Драка длилась долго. Как я ни старался, Янгули опередил меня — первый удар остался за ним. Я не упал — лишь покачнулся. Когда он замахнулся во второй раз, я быстро отпрянул, и рука его прошла перед моим носом. Но замах был

так силен, что Янгули не удержался на месте и сделал полшага вперед, чуть повернувшись в сторону. Сейчас он стоял передо мной с выставленной вперед худой челюстью точно так как во время первой нашей драки. И я изо всей силы ударил его в челюсть. Он упал и с минуту не двигался. Я был уверен, что он не встанет. Но Янгули вдруг вскочил и кинулся на меня. Его растопыренная пятерня и мой сомкнутый кулак достигли цели одновременно. Оглушенный, я опустился на одно колено, невольно закрыл лицо руками и почувствовал, как из моего носа сочится кровь. Когда я пришел в себя, увидел опустившегося на колено в такой же позе Янгули — он вытирал кровь с разбитой губы. Я кое-как встал. Выпрямился и Янгули.

Мы долго смотрели друг на друга. Я слышал его тяжелое, шумное дыхание, а он, конечно же, мое. Я ждал нападения Янгули, но странно, у меня не было больше ни желания, ни настроения драться. Но я знал, что отныне Янгули никогда не сможет командовать мной.

— Хватит! — сказал вдруг Янгули.

— Хватит! — согласился я. — Но завтра мы будем драться при ребятах! — добавил на всякий случай.

— Не надо. Я скажу ребятам, что ты — парень что надо! Но первенства я тебе не уступлю!

— И не нужно!

— Хочешь, будешь вторым! — предложил Янгули.

— Да не нужно мне ничего! Ты — иди своей дорогой, я — своей! — Я собрался уходить.

— погоди! Так не пойдет. Не станем же мы драться каждый день? Давай так: с завтрашнего дня мы будем ругать друга друга. Кто лучше — тот и победитель!

— Ладно, согласен!

* * *

И вот снова мы в окружении ребят. На сей раз между нами разгорается словесный поединок.

— Джемал — ослиная голова!

— Янгули — греческий зеленщик!

— Тбилисский сопляк!

— Погонщик ослов.

— Осел!

— Гнилой огурец!

— Камбала!

— Головастик!

— Медуза!

— Кретин!

— Паганини!

Арсенал ругательств у меня иссяк. А Янгули ждал — была моя очередь.

— Ну, давай, иначе проиграешь! — толкнул меня Кока.

— Больше не умею!



19359290
3022010333

— А ты крой по матери!
— Нет, по матери нельзя!
— Скажи — шэни дэда ватире!¹ Это же не обидно!
— Да как это сказать по-русски?
— А ты скажи по-грузински! Он не поймет! — не отставал Кока.

— Янгули, шени дэда ватире! — сказал я по-грузински и весь напрягся в ожидании ответа.

— Имана су ине протикаса инека, Дмежал!² — Я понял, что Янгули тоже задел мою мать, но слова его прозвучали так мелодично, так приятно, словно пел он «Аве Марию». И я повторил:

— Шэни дэда ватире, Янгули!
— Имана су ине протикаса инека, Джемал!

* * *

Так продолжалось полгода. Потом страсти понемногу улеглись. Янгули и я свели свой бранный репертуар к одной-единственной фразе, которой, словно приветствием, обменивались при каждой встрече:

Я: — Шени дэда ватире, Янгули!

Он: — Имана су ине протикаса инека, Джемал!

* * *

Был солнечный день. Я и Кока возвращались из школы. У переезда, как обычно, забавлялись Янгули и его компания. Увидев меня, Янгули вскочил и направился ко мне.

— Янгули, шени дэда ватире! — опередил я его.

Он остановился и долго молча смотрел на меня.

— Шэни дэда ватире, Янгули! — повторил я.

Янгули опустил голову, повернулся и медленно зашагал... домой. Я так и замер от удивления.

— Видал, как он смылся?! Все, конец его атаманству! — сказал я Коке.

— Не конец, а только начало! — нехотя улыбнулся Кока.

— Как так?

— А так. Одолеп он тебя, Джемал!

— Почему же он не выругался?

— Вчера он спросил меня про твою мать. Где, мол, она... Ну я и ответил, что ее... что она... в общем, ответил, что ее уже нет... Потому-то он и не выругал тебя... Я остолбенел.

¹ Шэни дэда ватире (груз.) — дословно: заставлю плакать твою мать.

² Имана су ине протикаса инека (греч.) — твоя мать потаскуха.

— Сопляк, болван! Почему ты мне не сказал об этом вчера?

— Не знаю... — потупился Кока.

— Янгули! — крикнул я. Но он был уже далеко, чтобы услышать мой голос. А может, и услышал, но не обернулся...

* * *

С тех пор Янгули вдесятеро вырос в моих глазах. Вражды между нами как не бывало, но друзьями мы так и не стали. При встрече мы приветствовали друг друга поднятой рукой и приветливой улыбкой, и только. Если он вместо отца приносил нам молоко или мацони, мы заговаривали. Но дальше, как о цене на молоко, мацони и зелень или об ослике, разговор не шел.

* * *

В тот день Янгули принес молоко. Я встретил его во дворе и... не узнал. Все лицо у него было в синяках.

— Что с тобой? — спросил я удивленно.

Это было немыслимо — чтобы кто-нибудь в квартале осмелился поднять руку на Янгули. Разве что кто-то из старших?..

— Ничего! — ответил он, отводя взор.

— Но тебя же...

— Ничего! — повторил он с улыбкой.

— Янгули, скажи, кто он? Если ты один не справишься с ним, возьми меня!

Янгули отрицательно покачал головой.

— Привяжи осла здесь, и пойдем сейчас же! — я поставил на лестницу горшок с молоком.

— Да нет, нам не одолеть его! — проговорил Янгули с горькой улыбкой.

— Как!? Нам вдвоем?!

— Ни нам, ни всему Венецианскому шоссе...

— Да кто же это такой?!

— Мой отец!

— Отец?

— Отец.

— За что же он тебя?.. — я приложил руку к его вспухшей щеке.

— Было, значит, за что...

— Что ты натворил?

— Через три дня в Сухуми придет пароход из Греции. Здешние греки возвращаются в Элладу. Мой отец тоже...

— Ну и что?

— А то, что я не хочу ехать с ними... Папа говорит там, мол, наша родина, родная земля... Что нас, мол, зовет кровь предков и мы обязаны внять этому зову...

— А почему ты не едешь с ними? — спросил я.

Янгули долго молчал, понурился головой. Он поглаживал торчавшие уши ослика. Уши послушно ложились под ладонями Янгули, но как только он отпускал руки, они тотчас же вновь подскакивали вверх, словно боялись пропустить слово из нашей беседы.

— Как тебе объяснить... — начал он наконец. — Матери у меня нет, я даже не помню ее, а отец — все дни в городе или на заработках... Я вырос на Венецианском шоссе, на улице... Моя родина, моя Эллада — это Сухуми. Шоссе, Чалбаш. Моя Эллада — это Кока, Петя, Курлик, Фема, Черное море, мост... — он чуть запнулся и продолжал: — Это — Мида... и ты тоже...

Имя Миды Янгули при мне произнес впервые. Но я знал, что Мида — это дочь вышедшей за абхазца гречанки, что в Сухуми нет девочки красивее Миды и что Янгули любит ее.

— Понял теперь? — спросил он.

Меня мороз продрал по коже. Такие слова я слышал первый раз в жизни.

— А это что? — я распахнул рубаху на груди Янгули и промком прочел: — Hellados.

— Это — наколка, Джемал. А родина — она глубже, в самом сердце. — Янгули положил руку себе на грудь.

Я с трудом проглотил подступивший к горлу комок и пока собрался ответить ему, он взял под уздцы ослика и вышел со двора.

* * *

Спустя три дня, ранним утром, пришел Янгули и привел с собой неоседланного осла.

— Отец распродал все: корову, дом, вещи. А ослика никто не покупает. У вас считается неприличным держать дома осла, а напрасно. Это такое милое животное — работага, безобидное... Куда я его дену? Греки все уезжают... Не брошу же его на улице... А смотреть за ним — просто. Пучок травы. — Янгули говорил, глотая слова и слезы, и поглаживал ослика.

— Так ты тоже едешь?

— Приходится... Оставишь осла у себя?

— Конечно!

— Не выгоняй его!

— Что ты!

— И Нину Ивановну попроси, чтоб не выгнала!

— Конечно!
— Кока тебе поможет... Много ли ослу нужно?
травы...

- Да, Янгули.
— Его звать Аполлон.
— Знаю, Янгули.
— Будешь ласкать его?
— Буду, Янгули.
— Ну, я пошел... Пароход уходит вечером..
— Иди, Янгули..
— Прощай, Джемал!
— Я приду в порт, Янгули!

Мы обнялись. Янгули долго не отпускал меня. Потом он быстро повернулся и, не оглядываясь, убежал, будто спасался от чего-то страшного и опасного...

* * *

Вечером весь Сухуми вышел в порт.

Было много цветов, играл оркестр, люди пели, плясали. Было много «спасибо», «до свидания», «прощай», но больше всего было слез.

Жители Сухуми прощались с греками — со своей кровью и плотью, с частицей своей души. Греки уже поднялись на корабль — на белоснежный «Посейдон» и оттуда что-то кричали, размахивая руками, — по-гречески, по-русски, по-грузински, по-армянски. Опромный «Посейдон» стоял носом к берегу. Море слегка волновалось, и корабль качал головой, словно прощаясь с нами.

Вместе с другими мальчиками я принял к ограде пирса и стал в толпе греков разыскивать глазами Янгули. И увидел его. На нем была любимая черная сатиновая рубаша, распахнутая на груди.

— Янгули, Янгули! — заорал я и стал махать руками. Долго, долго разглядывал Янгули провожавших и наконец нашел меня. Он высоко поднял обе руки и крикнул:

— Джемал, его агапо и мана су!*

Он кричал это по-гречески, и мне казалось, что он поет. И еще мне показалось, что отец удерживает Янгули. Я не мог больше слышать его песню, не мог смотреть на него. Я повернулся спиной к кораблю и, заплакав, пошел домой.

* — Джемал, я люблю твою мать!

Через день у устья реки Келасури море выкинуло на берег тело молодого парня. Вернее, его вытащили рыбаки-староверы, уложили на песок и позвали детей для опознания трупа.

Лицо у покойника было побито до неузнаваемости. Никто не смог опознать его.

Я узнал. Узнал, когда на широкой его груди, над левым соском увидел голубое магическое слово Hellados.

Не переводя дыхания, я промчался по пляжу, набережной, насыпи, Венецианскому шоссе и, словно сумасшедший, ворвался в дом.

— Что с тобой?! — ужаснулась тетя.

— Тетя Нина... Янгули вернулся...

Потом опустился перед ней на колени, обнял ее и горько зарыдал...

Перевод Зураба АХВЛЕДИАНИ

ИЗ ЦИКЛА «1942»

Зимний пейзаж

Здравствуй, древняя Керчь!
Как же волки тебя истерзали,
Ты встречаешь меня
Полосою слепого огня,
Дым над морем стоит,
Языки его зданья слизали,
И пустые глазницы их
Ждут наступления дня.

Здравствуй, гордая Керчь!
Как прижались к груди Митридата
Твои малые домики,
Будто от черных ворон
Убежали и спрятались
Около мамы цыплята.
А над ними навис,
Озаренный бедой, небосклон.

Ты измучена, Керчь,
Как ты огненным поясом сжата,
Среди снежного месива
Голых деревьев народ,
Серый танкер у мола
В защитной одежде солдата,
И пробитое пулями
Утро на город идет.
Город горькой мечты!
Где мы жили в те страшные годы,
Где тревогой объята
Молились за Родину мы,
Твой пейзаж я запомню:
Холодные мутные воды,
Снег и кровь, снег и кровь,
На холсте незабвенной зимы.

Первый урок войны



В первое время в Керчи, в темном и глубоком подвале, были помещены грузинская типография и редакция нашей прифронтовой газеты «Крымская боевая». В подвале случайно были найдены маленькие школьные парты.

Помню ту типографию,
Буквы рядами,
Черной краски печатной
Густая смола,
До сих пор мои пальцы,
Как будто в бальзаме,
Это краска навечно
Под кожу вошла.
До сих пор мои руки
Все помнят про это,
И, когда я пишу,
Направляют перо:
Первый оттиск
Той первой
Военной газеты
И суровые новости
Информбюро.

До сих пор не забуду
Убежище наше,
Где в табачном дыму
Жили звуки войны,
Где висячую лестницу
Чаще и чаще
Сотрясали раскаты
Ударной волны.

И покрытые мраком
В угрюмом подвале,
Там, где сырость сочилась
Из трещин стены,
Позабывтые
Школьные парты стояли,
Как бездомные дети
В разоре войны.
Выли бомбы снаружи.
Но рядом за партией,
Где от детских чернилниц
Остались следы,
Восседали
Наборщик, поэт и редактор,

Как на первом уроке
Борьбы и беды.



И тогда мне представилась
Эта картина,
Мне почудилось
В громе военной страды,
Будто юность мою
Оплела паутина,
Паутина войны,
Паутина беды.
Мне почудилось:
Алые галстуки
С нами,
Язычками горят
В свете майского дня,
Пионерская юность,
Волшебное пламя,
И на юбочках девочек
Искры огня.

Мне послышалось:
Шелест учебников в школе,
Где стрекозами
Легкие буквы летят,
Зимний пушкинский вечер,
Знакомый до боли,
Мельтешение хлопьев,
Стихов снегопад.

А еще мне послышалось:
Шелест растений,
В теплых южных морях
Плеск летающих рыб,
Я в разрывах войны
Вспомнил полдень весенний,
Школьных перышек наших
Размеренный скрип.
Мы сидели за партами.
Бомбы срывали
Каменистые брызги
С дрожащей стены.
Мы, поэты-солдаты,
Сидели в подвале,
Как на первом уроке
Огромной войны.
Мы сидели за партами,
К бою готовя
Наше слово-оружье,
И, как ученик,
Я нащупывал пульс
В ускользящем слове
И вертел карандаш,
И черкал черновик.

Мы сидели за партами.
Лампа дрожала.
То потухнет,
То вспыхнет.
И вновь предо мной,
Словно в школьные годы,
Задача лежала,
Но вопрос в ней был задан
Суровой войной.



Воспоминание одной ночи

Ночь.
Сосо Кипиани
Корпит над моими стихами.
Завтра эти листовки
Доставлены будут бойцам,
Завтра эти листовки,
Что набраны в каменной яме,
Понесут мое слово
Отважным солдатским сердцам.

Ночь.
Нам светит коптилка,
При взрывах дрожа и мигая,
Проступают на стенах
Оскалы волшебных зверей,
А над нами навис
Свод угрюмых небес Ак-Моная
И угрюмая сырость
Сочится из узких дверей.

Ночь.
Осталось немного.
Я ставлю последние знаки.
Завтра слово твое
Понесется в атаку,
Поэт!
Как орудия лают, —
Как лунною ночью собаки!
Ночь.
Листовка готова.
И скоро наступит рассвет.

Это было тогда

Это было тогда,
В лютом холоде сорок второго,
Той зимой,
Что украла
У нас столько жизней и сил,

Это было тогда,
Когда небо светилось сурово
И обоймы стихов,
Как патроны
Я в сумке носил.

Это было тогда,
Когда жили мы, спать забывая,
В телогрейке солдатской
Был письмами полон карман,
Когда шапку мою
Украшала звезда боевая,
А у самой груди
Материнский лежал талисман.

Это было тогда,
Когда крал я у брэнного мира
Сновиденья свои,
Когда видел я адские сны,
Когда только во сне
Замолкала усталая лира
И свинцовая тяжесть
Сползала с усталой спины.

Это было тогда,
Когда стало мне горько и жалко,
Когда я получил
То большое письмо от жены,
Это было тогда,
Когда небо —
Огромная прялка
Завалила снегами
Просторы огромной страны.
Средь печальных развалин
Виднелись согбенные плечи
Обгорелых печей,
И по ветру носилась зола,
И озябшие птицы,
Которым кормиться уж нечем,
Суетливо металась
И тщетно искали тепла.

Это было тогда,
Когда снежные хлопья сурово
Наметали сугробы
На слабые птичьи следы,
Это было тогда,
В лютом холоде
Сорок второго —
Годе грозной войны
И тяжелой беды и нужды.

Кладбище грузинского шрифта

04105020
8020101033

Удивляться не нужно.
Но кладбище есть и такое,
Позабывтое кладбище...
Сколько стремительных лет
Пролетело с тех пор!
А душа все не знает покоя
И меня теребит —
Напиши и об этом, поэт.

В это страшное время,
Когда даже землю штормило,
Нам приказано было,
Чтоб шрифт не достался врагу,
Нам приказано было
Секретную вырыть могилу
И грузинские буквы
Оставить на том берегу.

В это страшное время
В бушующем огненном море,
Где несчастные птицы
Найти не умели гнезда,
Как Сиваш, омертвела
Душа моя, полная горя,
И надежда, казалось,
Ушла из нее навсегда.

Сто локтей мы отмерили,
Грозно сверкнули лопаты,
Полетела земля,
И зачавкала злая вода,
Мы работали молча,
Наборщик, поэт и редактор.
Букв грузинских могильщики —
Вот, кто мы были тогда.

Мое тело обдало
Ознобом смертельной прохлады,
Когда в эту могилу
Последние буквы ушли,
Мне казалось, я слышал:
Сквозь яростный гул канонады
Шепот речи грузинской
Доносится из-под земли.
Мне казалось, то были не буквы, а звуки,
Погребенные заживо,
Они будут бессильно молчать,
Те волшебные звуки,
Что вскормлены
Нежным, оленьим,

Голубым молоком
И привыкли свободно звучать!

И теперь я пишу,
А душа пребывает во мраке,
Тяжелеет бумага
И строки текут, как металл.
Да, тогда хоронили
Мы эти изящные знаки,
Что для славы победной
Грузинский народ создавал!..

Нам был отдан приказ —
Отступить,
И той пасмурной ночью,
Когда враг просочился
Сквозь редкие наши ряды
И пошел по тылам,
Я впервые увидел воочью
Весь кошмар отступленья,
Всю тяжесть военной беды

Уходили во тьму,
Выполняя приказ генерала.
Пал тяжелый туман,
Закрывая на Грузию вид,
Дорогая земля!
Как душа по тебе обмирала,
Как она цепенела
Под гнетом невзгод и обид.
Да, я помню тот май,
Май военного сорок второго,
Когда все предстоящее
Виделось будто во мгле.
Мы оставили Крым.
Море было темно и сурово
И шумел,
И шумел
Остающийся Ени-Кале.

Перевод Марка РИХТЕРМАНА



Крылатый

«Здесь 11 мая 1944 года погиб четырнадцатилетний юный герой Марат Казей, воспитанник Станьковской школы Дзержинского района Минской области».
(НАДПИСЬ НА ОБЕЛИСКЕ).

Они ползут, смыкая черный круг,
По сторонам трусливо озираясь,
Змеиными следами росный луг
И тишину рассвета оплетая...

Фашистов больше сотни, он — один.
И в автомате — диск, и две гранаты...
Летающий зорко журавлиный клин
Спешит на помощь юному солдату.

Вожак курлычит громко с высоты
На языке, понятном только людям:
— Беги, сынок, и спрячься за кусты!
А мы с подмогой вскорости прибудем!

...Они ползут, чтоб взять его живым
За грязную Иудину награду...
И он, уже предчувствием томим,
Окинул всю окрестность чистым взглядом....

— Полесье дорогое!.. Отчий край,
Окутанный голубоватой дымкой!..
Советского солдата выручай!
Меня, Марата, сделай невидимкой!..

Спешил туман сгуститься над лужком...
Лучи рассвета медленней скользили...
Уже и партизаны за леском
По большаку на лошадях пылили...

Все силы обновленья и добра
Земля к спасенью сына призывала.
И даже на фашистов мошкара
Назойливее тучей наседала...



Они ползут, а диск уже пустой.
Но у бойца остались две гранаты.
И он, прицелясь, детскою рукой
Одну бросает в кучу супостатов.

Ему б играть с мальчишками в войну,
В реке плескаться весело и звонко,
Придумав ради озорства вину,
На ночь пугать соседскую девчонку,

Искать какой-то клад за озерцом,
Читать взахлеб Гайдара и Майн Рида,
Расти и жить, обласканным добром,
Совсем не зная горя и обиды.

Ему любить великую страну,
Дарить ей труд и помыслы благие...
А он ушел мальчонкой на войну
И стал в ряды защитников России...

Отлитый в бронзу юный партизан
Занес над головой свою гранату,
Чтоб до нутра коричневый туман
Взорвать и уничтожить в сорок пятом.

Плывут весной над Минском журавли,
И тот вожак все годы повторяет:
— Ему мы помогали, как могли,
Но у него, видать, судьба такая...

Пустите, люди, хлопчика в полет!
Крылатому простора не бояться!
Ведь он уже в бессмертии живет!
Но мать-Земля не может с ним расстаться.





● *Р а с с к а з*

1.

ПАНТЭ ДЖААВА шёл к церкви по узенькой тропке, пересекающей склон, шёл напрямик, короткой дорогой, отсюда только он один поднимался в Охвамекари, это была его тропинка.

Шёл Пантэ и думал об Охвамекари, издревле почитавшемся священным местом. Греческое слово «эклесия» не

прижилось в мегрельском языке. Шестнадцать веков боролась «эклесия» с мегрельским «охваме», но так и не одолела. Народ предпочел старое языческое название «охваме» греческой эклесии. «Какие же были у них капища, — спрашивал себя Пантэ, — и какой была эта «хвама» (молитва), которую творили в языческих храмах? Почему народ не захотел расстаться с древним привычным «охваме»?»

Пантэ неторопливо поднимался в гору и любовался Охвамекари издали: во дворе церкви стояла огромная дзелква¹, которая своей раскидистой кроной целиком покрывала маленькую молельню, построенную в прошлом веке. Из деревни была видна только колокольня, сложенная из светло-желтых камней. Шатер колокольни давно обвалился, остались одни стены. Эти стены четко вырисовывались на горизонте, словно стояли на страже прошлого; выстаивали под дождем, ветром, снегом. Издали светло-желтые стены колокольни напоминали крепость. Столетняя дзелква, дотянув свои ветви и до светлых стен колокольни, словно охраняла Охвамекари. Пантэ вспоминал предание, бытовавшее в народе о дзелкве, и про себя улыбался. Как говорили, в старину на месте дзелквы рос дуб, которому народ поклонялся. Во время одного из вражеских нашествий дуб был сожжен. Когда дуб сожгли во второй и в третий раз, местные жители для отвода глаз посадили вместо дуба дзелкву. Собирались у подножия дзелквы, а молились дубу. Охвамекари была окутана легендами и сказаниями. Здесь каждое дерево, куст, камень, каждая пядь земли имели свою историю — свое прошлое. Поэтому и взял на себя Пантэ заботу об этой земле. Расчистил, прибрал подступы к церкви, навесил дверь, поставил ограду и калитку сбил из досок, которую запирали на замок. Сделал и перелаз рядом с калиткой. Одним словом, заброшенная церквушка стала похожа на памятник культуры.

Раньше никто не вспоминал про Охвамекари. И сам Пантэ редко поднимался сюда, чтобы навестить развалины церкви и колокольни. Ему было некогда: он отвечал за воспитание подрастающего поколения; преподавал в средней школе грузинский язык и литературу. С утра до ночи пропадал он в школе, каждого ребенка старался научить родному языку, родителям надоедал: мол, ребенок ваш не знает грузинского языка, обратите внимание, примите меры... Иной раз непрошеным светличком вторгался в дом к равнодушным родителям, бил тревогу, внушал, поучал, как следует обращаться с ребенком. А руководству села и района то и дело надоедал просьбами: требовал для школы то одно, то другое...

Перешагнув через перелаз и очутившись в церковном дворе, Пантэ услышал довольно громкий разговор. «Ты же знаешь его, настоящий интриган! Он где-то здесь живет, давай сначала спросим у него...» — явственно донесся до Пантэ знакомый голос, принадлежавший его соседу Бучу. Бучу когда-то учился у Пантэ, а теперь работал в колхозе бригади-

¹ Дзелква (груз.) — дерево семейства буковых с пышной раскидистой кроной и твердой древесиной.

ром. Но зачем он сюда пришел? — удивлялся Пантэ, шаря по двору глазами в поисках незваных гостей.

«Да ведь это камень всего-навсего, а не золото, чего тут спрашивать», — отозвался второй голос.

Пантэ, разглядев за колокольной двух дюжих молодцов, укрылся за стволом дзелквы, чтобы послушать, о чем они говорят.

Рядом с колокольной лежал огромный желтый камень. Лежал он здесь с незапамятных времен. Словно объединяя между собой землю, колокольную и дзелкву. Возле камня суетились незваные гости: измеряли его, пытались поднять, но даже с места сдвинуть не могли. Оставаясь незамеченным, Пантэ подошел совсем близко.

«Давай все же сходим к старику, я тебе серьезно говорю. Не дай бог с ним связаться!..».

«Если пойдем и спросим, еще хуже будет: начнет кочевряжиться. Камень валяется без присмотра, причем здесь старик Пантэ!..» — с издевкой отчеканил долгоногий верзила, отмеряя шагами расстояние от камня до перелаза. Пантэ узнал и второго; он тоже когда-то был его учеником и звали его Важо. Теперь он работал шофером на консервном заводе.

«Имей в виду, он заставит тебя обратно этот камень тащить!».

«Напугал вас этот болтун, как я посмотрю... Что значит заставит? Церковь народу принадлежит, а он, видите ли, огордил ее как частную собственность! Иди сюда! — позвал Важо осторожного Бучу и засучил рукава. — Главное от земли его оторвать, он прямо как замурованный!».

Оба снова завозились над камнем, еще и еще раз безуспешно пытались сдвинуть его с места.

Пантэ не удивлялся, что его называли интриганом, его огорчало то, что бывшие ученики бранили его без всякой причины. Почему? За что? — горестно вопрошал он самого себя. А парни возлились с камнем, на все корки ругая учителя: громко, беззастенчиво.

«Все пишет, как вышел на пенсию, днем и ночью пишет!».

«Да он всегда был «писателем», помнишь, и во время уроков все писал!».

«На родного сына, на Андри жалобу настрочил!..» — издевательски хихикали парни.

«На родного сына... Господи, чего только не услышишь!» — Потрясенный Пантэ не верил собственным ушам. Он, согнувшись, стоял в своем убежище, не сводя глаз с разболтавшихся парней.

«Но Датико Васильчу он не откажет, — Важо, пытаюсь просунуть под камень руку, шарил по замшелой поверхности, — как услышит имя Датико Васильча, так с него мигом дурь сойдет...».

«Какой он тяжелый, черт побери, — проворчал Бучу, выпрямляясь и воровски оглядываясь по сторонам, — даже если мы его выкатим отсюда, то как быть с оградой...».

«Сейчас сделаем выход, — Важо подошел к проволочно-му ограждению и посмотрел вниз. — Нам только сдвинуть его,

а там он как миленький до самой машины докатится». — Ва-
жо достал из кармана кусачки.

«Во всеоружии явился, пора выходить!» — быстро решился Пантэ и, кашлянув, вышел из своего укрытия. Конечно, хорошо бы еще немного переждать, послушать, все разузнать получше. Но, увидев, что Важо собирается перерезать проволоку, Пантэ не стерпел. Он с этой оградой изрядно намучился. Сначала надо было проволоку раздобыть, потом столбы. А сколько он пота пролил, пока один-одинешенек столбы ставил да проволоку тянул. Уж не для того ли, чтобы позволить какому-то Важо враз перечеркнуть все его труды? Важо, завидев Пантэ, поспешно сунул в карман кусачки, протянутые было к проволоке. Мигом осекся и Бучу: Пантэ, как ни говори, был их учителем, и некоторое почтение к нему они все-таки сохранили. Пантэ обрадовался замешательству своих бывших питомцев, значит, не совсем они пропащие люди, подумал он.

— Здравствуйте!.. — спокойно произнес Пантэ, садясь на чуть было не похищенный камень.

Пантэ сделал вид, что ничего не слышал, никакого зла на воров не держит и вообще встрече с ними особого значения не придает. Он достал из кармана сигарету, закурил. Парни так и застыли на месте: видимо, никак не ждали Пантэ. Откуда он возник? — в недоумении они глядели друг на друга.

— Зачем пожаловали, ребята? — спросил Пантэ.

— Датику Васильич послал нас за этим камнем, — решительно проговорил Важо, — мы должны его забрать, если только сдвинем с места, хи-хи! — с идиотской ухмылкой добавил он.

Пантэ долго сидел молча, потом снова обратил взор к парням и твердо произнес:

— Этот камень отсюда уносить никак нельзя, друзья мои...

Такого спокойного, мягкого ответа от Пантэ никто не ждал. Бучу сразу почувствовал себя виноватым перед учителем, с упреком воззрился на Важо и попытался все свалить на него:

— Вот видишь, я же тебе говорил!..

Наступила могильная тишина. Учителю вовсе не по душе пришлось лицемерное отступление Бучу. За спиной этот самый Бучу честил его на все корки, а теперь овечкой прикидывается!

— Почему же это нельзя? — засмеялся Важо. — Ведь это камень, а не что-нибудь...

— Эта церковь — памятник культуры, и если каждый будет уносить, что ему вздумается, здесь ничего не останется, — терпеливо разъяснил Пантэ.

— Церковь пусть себе стоит, — миролюбиво ответил Важо, — нам только камень нужен.

— Именно камень-то и нельзя трогать.

— Можно поинтересоваться, почему? — любопытствовал Важо. — Директор знает, Васильич с ним поговорил, — вот спросите у него, если не верите... — Важо указал на Бучу.

— Да-да, директор знает, — подтвердил Бучу, — он мне сказал, отдайте, только спросите Пантэ. Между прочим, и ваш сын при этом присутствовал, Андри.

— А какой-такой директор дал распоряжение? — спросил Пантэ.

— Директор совхоза, Жора Иваныч.

— Да кто его спрашивает! — не сдержался Пантэ. — У памятников культуры свое начальство.

— Мы и до этого начальства доберемся, будьте спокойны. Васильичу никто не откажет. Забыли, как весь район ему подчинялся? Если бы он захотел, давно бы всю вашу церковь к себе домой унес, — сказал Важо.

— А зачем ему этот камень? — спросил Пантэ.

— Для марани.

— Для марани?

— Ну да, заместо стола, — Важо поставил на камень ногу, — пять-шесть человек запросто усядутся. А у Васильича такой погребок, что там простой стол не поставишь!

— Но и это не простой камень, чтобы его в погребок ставить! — вспыхнул Пантэ.

— Камень есть камень, дорогой учитель! Мы тоже не лыком шиты, кое-что понимаем! — Важо подбоченился одной рукой и вызывающе поглядел на Пантэ.

— Это камень Давида Строителя¹, и дороже него здесь ничего нет, — пояснил Пантэ.

— Потому и хочет его Васильич, что этот камень чего-то там из себя представляет, — ответил Важо, — вы не думайте, что у него какое-нибудь обыкновенное марани, ничего подобного! В музее столько чего не увидишь, сколько там!

— Так значит, это камень Давида Строителя? — Бучу принялся разглядывать камень. — Я тоже слыхал, что царь собственноручно его сюда притащил.

Бучу хитростью и лицемерием пытался задобрить Пантэ, найти с ним общий язык; делая вид, что его интересует история, он крутился вокруг камня.

Пантэ встал, подошел к колокольне и позвал ребят.

— Подите сюда! — и указал на обвалившийся верх стены. — Вон оттуда он упал.

Колокольня была сложена из крупных, гладко отесанных камней. И одного камня, в самом деле, недоставало. Важо и Бучу и раньше видели полуразрушенную колокольню, слышали и про этот камень, но пропускали мимо ушей стариковские байки и толком не помнили, почему обыкновенный камень носит имя Давида Строителя.

Пантэ, позабыв личную обиду, всей душой пожелал объяснить молодым, почему нельзя уносить отсюда этот камень. Он искренне верил, что, если он тронет их сердца рассказом о прошлом родного края, нарисует живую картину прошлого, они не тронут камня, попросят прощения у Пантэ и с миром уйдут туда, откуда пришли. И тогда Пантэ все им простит, все забудет!

¹ Давид Строитель (1089—1125) — грузинский царь, с именем которого связано объединение и усиление Грузинского царства.

1110333

— Эти места наши предки издавна почитали святыми, начал он, — раньше здесь стоял священный дуб и было, на лице — охвामе. Позже здесь же построили церковь святого Георгия, не ту, что вы сейчас видите, а большой храм, целиком сложенный из таких плит, — Пантэ похлопал рукой по желтокаменной кладке. Неторопливо огибая колокольню, он продолжал свой рассказ, а слушатели покорно следовали за ним. — Тот храм разрушили басурманы, сожгли его, а уцелела только вот эта колокольня, — Пантэ снова похлопал рукой по стене, остановился и помолчал, желая подчеркнуть древность колокольни. — В каком веке мы с вами живем? — спросил он у парней. — В двадцатом, не так ли?.. А все это произошло тринадцать веков назад. Тринадцать веков — это не шутка! Впоследствии, когда Давид Строитель выгнал захватчиков, монахи вернулись в свою древнейшую обитель и попытались ее восстановить. Они сами таскали сюда воду, известь, камень, глину, сами заливали раствор и сами возводили стены. Каменщиков у них не было. Все воевали с врагом и было не до церквей!

А тут как раз Давид Строитель собрался в поход и проезжал мимо нашей деревни. Смотрит, бедные монахи с огромным камнем возятся. Соскочил царь с коня, поднял камень и поставил его туда, где вы видите сейчас провал. Монахи поблагодарили царя, а Давид снова сел на своего скакуна и повел войско дальше. Монахи укрепили камень в стене, но раствор у них был не тот, что прежде, и камень через некоторое время выпал...

— Самое время нам сказки слушать, — вполголоса бросил Важо.

Пантэ, услышав это, вспыхнул: он и так достаточно долго терпел. Скопившийся гнев переклестывал через край.

— А вы думаете — мне до сказок! — устремил он на наглецов пылающие гневом глаза. — Да кто такой этот ваш Васильич или как там его! Кто вы такие, в конце концов, что я с вами столько церемонюсь! Не смейте ничего трогать! Все это принадлежит народу и стоит подороже вашего консервного завода! — Пантэ решительно сел на камень. — Понятно вам или нет?

Гнев Пантэ привел Важо в сильнейшее раздражение.

— Как не понять! — Важо прижал руку к подбородку. — Благодаря вам мы тоже кое в чем разбираемся, тоже кое-что понимаем, — в его тоне сквозила насмешка.

— А если понимаете, то как у вас совести хватило сюда явиться! Пришли как воры, грабители. Да вся деревня, вся земля — ваши, оставьте хоть этот клочок предкам: дерево, камень и церковь не трогайте!

— Воры, грабители?! — вскричал Важо, выкатив на Бучу глаза. — Скажи ему что-нибудь, иначе я за себя не отвечаю!

— Зачем вы так, батоно Пантэ, мы не воры! Нам приказано — мы и пришли... — недовольно проговорил Бучу.

— Как это не воры? Значит, я выдумываю? Значит, вы же уносили этот камень вот только что, на моих глазах?

— Меня еще никто вором не называл! — вскричал Ва-
жо, выхватил из мусора, брошенного у церковной стены, ржа-
вую железную трубу. Демонстративно согнул ее в дугу, потом
свернул кольцом, сведя вместе концы, и бросил к ногам ста-
рика.

— Ты зачем эту ржавую железку гнешь? Уж не меня
ли стращаешь? Силу свою показываешь?.. Если ты такой
сильный, то вот камень, видишь? Вы его вдвоем не осили-
ли, а в старину — один человек запросто поднимал!

— Бучу, убери этого человека, прошу тебя, а не то... —
Важо двинулся на Пантэ, но Бучу преградил ему путь.

— Объясни, будь другом, чего он сердится, — прикинул-
ся непонимающим Пантэ. — Значит, вы не воры? Может быть,
ученые? Или писатели? Педагоги? Сами скажите, как вас ве-
личать? — Пантэ обращался к Бучу, ибо Важо только руга-
лся и лез в драку.

— Не всем же быть педагогами и писателями, — Бучу
тоже позабыл об уважении к учителю и разговаривал с ним
дерзко.

— Значит, вы не воры? — не отставал Пантэ, упорно про-
должая унижительный допрос.

— Не воры, нет! — выкрикнул Бучу.

— Значит, вы поднялись сюда, чтобы меня повидать?

— Не хотим никакого камня, уходим, видите? Уходим!..

— Вы-то уходите, но воров так просто не отпускают на
все четыре стороны!.. — Пантэ хлестал их как плетью невы-
носимым словом «воры».

— У-ух! — Важо обернулся, тараща на Пантэ глаза и
кусая от бессильного гнева собственный кулак. Бучу потянул
Важо за рукав, увлекая его прочь.

— Скажем Васильичу, что Пантэ не дал, и дело с кон-
цом, — успокаивал Бучу друга, — в крайнем случае, прине-
сем старику письменное разрешение...

Важо не слушал Бучу. То и дело оглядывался и ругался
последними словами. Когда похитители убралась со двора, пе-
решагнули через ограду, пошли под гору и скрылись из глаз,
Пантэ снова сел на камень Давида Строителя, закурил сига-
рету и погрузился в радумье.

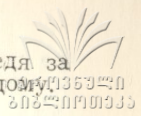
«А ведь обиделись, когда я их настоящим именем-то на-
звал, и один, и другой — ишь как взъерепенились...»

Стоял теплый осенний день. Закатные лучи окрашивали
западный край неба в кроваво-красный цвет. Старику не хо-
телось думать о том, что случилось, не хотелось вспоминать
ни Васильича, ни всех прочих. Отсюда невиданно прекрас-
ной, чарующей и сказочной казалась раскинувшаяся внизу
Колхидская низменность.

Пантэ отрезвил крик сойки, он поднялся, вспомнил про
корову, привязанную во дворе церкви. Он приводил ее сюда
попасться. С тех пор, как он огородил двор, трава здесь рос-
ла густая и сочная.

Пантэ отвязал корову, намотал веревку на руку, еще раз
окинул взором окрестности церкви. Снова запер на замок ка-
литку. Перелаз, откуда во двор проникли давешние воры, за-

валил колючими кустами, срубленными накануне, и, ведя за собой корову, по крутой тропинке медленно побрел к дому.



2.

Вернувшись из Охвამекари, Пантэ загнал корову во двор. Пока он запирает ворота, корова вырвалась и побежала к колодцу. «Чтоб тебя волки сожрали!» — в сердцах крикнул Пантэ, быстро накиннул железный засов и поспешил за коровой, которая остановилась у колодца, оглянувшись на хозяина, замычала и посмотрела такими выразительными глазами, что казалось, вот-вот она заговорит: «Я пить хочу, человече! Скорей напои меня!». Пантэ отправился на кухню, открыл шкаф и начал искать остатки гоми и чади. Затем забренчал ведрами и подойником. Достал ведро, предназначенное для коровы, в него были слиты остатки гоми. Пантэ бросил сюда же куски чади, размешал рукой... На знакомый звук с кудахтаньем и писком сбегались к дверям кухни куры, утки, индейки, свинья с рогаткой на шее и цыплята. Был уже вечер, и вся живность требовала еды.

— Акша! Акша! — кричал Пантэ. — Чтоб вас шакалы съели! — Он вытаскивал из кухни свинью, кур, уток, а цыплята с писком путались у него в ногах.

— Акша, негодники! Дети есть у всех, но никто не морит голодом кур! — громко, чтобы слышала невестка, говорил Пантэ.

Невестка, по его расчетам, находилась в доме. Звали ее Нели¹. «До чего же ей имя правильно выбрали», — совсем нехотая заметил вслух Пантэ.

— Нет, двух жен иметь не полагается, и тебе никто второй жены не даст! — Пантэ якобы спорил с отсутствующим сыном, на самом же деле этот «спор» был затеян ради невестки.

Пантэ сновал между кухней и колодцем и громко ворчал: — Во всем христианском мире одна женщина ведет весь дом, у нас их две, но кур всегда приходится кормить мне, мужику...

Он напоил корову, свинью загнал в хлев, бросив ей пачок кукурузы. Курам насыпал корму, корову привязал к столбу, пустое ведро отнес на кухню. Сам уселся на лавочку под навесом и в ожидании женщин принялся наблюдать за домашней птицей, ринувшейся на корм.

— Джурджа! — вдруг позвал он, оглядываясь на дом. Он звал внука. На самом деле мальчика звали Резо. Но дед упорно называл его Джурджа, как бы намекая на то, что должен вырасти плотненький упитанный крепыш — Джурджа. В действительности же мальчик был тощий, как червяк, бледный и болезненный. Родители, что называется, ветерку на него подуть не давали, дрожали над ним, но выглядел он все равно жалым недоноском.

— Джурджа! — еще раз крикнул Пантэ. Задняя дверь дома отворилась, и на каменном крыльце появился совершен-

¹ Нели — по-грузински «медленная».

но голый Джорджа на тоненьких, как макароны, ножках. Судя по всему, он сбежал от матери.

— Где ты пропал? — упрекнул внука Пантэ. Больше он ничего сказать не успел. Вслед за мальчиком выскочила мать — с криком и бранью.

— Не будите мне ребенка! Я едва его усыпила, а у Резо температура... — бросила она свекру, шлепнула сына и втащила его в комнату.

Резо заревел, постепенно повышая голос, — не хотел ложиться.

— Замолчи! Разбудишь маленького, негодник! — услышал Пантэ голос Нели. — У тебя температура тридцать восемь, а ты орешь, замолчи, говорю!

Поскольку в доме двери и окна были открыты, малейший шорох отчетливо был слышен во дворе.

Резо затих, но теперь раздался плач Гии. Гия пока еще лежал в люльке — аквани, он тоже рос слабым и болезненным ребенком.

«Тс-с, детсчка», — успокаивала его Нели, качая аквани. И скрип раскачивающейся колыбели тоже доносился до слуха Пантэ.

Солнце зашло. Стоял тихий спокойный вечер ранней осени. Привязанная под навесом возле кухни корова была сыта и больше не щипала траву. Поглядывала туда, где должен был находиться теленок, и время от времени протяжно мычала — звала его. Теленок, привязанный в винограднике, тотчас откликнулся.

Пантэ был погружен в свои мысли, когда калитка отворилась и вошла Натэла. Пантэ обрадовался приходу жены, но виду не подал и с места не сдвинулся — продолжал сидеть. «На старости лет и жену у меня отсбрали», — подумал невесело.

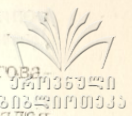
Натэла всю жизнь свою посвятила семье. Вырастила пятерых детей. Всех пятерых поставила на ноги. Одних в Тбилиси устроила, других — в районе. Андри остался с родителями, и его семье мать отдавала последние силы.

Вот и сегодня из-за Андри она ходила на чайную плантацию. Андри работал главным агрономом чайного совхоза «Первое мая». Директор и прочие руководители так не болели душой за совхоз, как Андри. Тот спал и во сне видел стопроцентное выполнение плана. Об этих планах говорил с утра до ночи, дома и на работе.

Натэла, как заправская сборщица чая, была в переднике и несла в руке корзину. Пантэ дождался, пока она подойдет поближе.

— Хо-хо-хо, ну как, небось план выполнили-перевыполнили? — со своей обычной ухмылкой спросил Пантэ. — Чем ерундой заниматься, лучше бы корову подоила вовремя. У нее все молоко перегорело, несчастная животина ревет своим голосом... Видишь, уже совсем стемнело, как же ты будешь донть?

— Зажгу свет, — спокойно отрезала Натэла. Поставила корзину в угол, повернула выключатель, и в кухне стало светло.



— Отвляжи телка, — крикнула Натэла мужу. Пантэ пошел за теленком.

Молча подсили корову, молча прибрались и, не разговаривая друг с другом, поднялись в дом.

Пантэ зажег в своей комнате свет, надел очки и принялся за газеты и журналы. Все было давно читано-перечитано, но он внимательно просмотрел еще раз — а вдруг пропустил что-нибудь интересное. Натэла накрывала стол к ужину, когда в столовую на цыпочках вошел Андри и остановился у нее за спиной.

— Ох, как ты меня напугал! И всегда ты так неслышно крадеешься! — вскрикнула Натэла.

— Отец пришел? — спросил Андри, не обращая внимания на недобольство матери.

— Он у себя... А что случилось?

— Ничего... — ответил Андри и вошел к отцу. Пантэ лежал и читал газету. Когда Андри открыл дверь, он взглянул на него поверх очков и снова принялся читать.

— Ты почему не отдал им этот камень, отец? — прямо с порога начал Андри. Пантэ как будто и не слышал, не глядя на сына, сообщил:

— У Резо температура... — Это означало, что Пантэ не желает говорить о камне. Наступило тягостное молчание. Андри присел к столу, не зная, как подступиться к отцу. Этот щедедушный старик умел быть твердым как скала: если упрется, то ни силой, ни уговорами его не взять.

— Ты, надеюсь, не забыл, кто такой Датики Васильич?

Пантэ молчал, уткнувшись в газету. Уже не читал, но хотел показать сыну, чтобы его оставили в покое: мол, мне не до тебя, я газету читаю. Ему не хотелось затевать этот неприятный разговор. Но Андри не отступал.

— Тебе придется отдать этот камень Датики Васильичу, отец, другого выхода нет... — перешел на просительный тон Андри.

Его тон не понравился Пантэ. Он предпочитал, чтобы Андри спорил с ним, ругался. Просьбы и уговоры в таком деле, по мнению Пантэ, были совершенно неуместны.

— Я не понимаю, о каком камне идет речь, — холодно произнес Пантэ, откладывая газету в сторону и приподнимаясь, — теперь он сидел на тахте.

— С нового года у нас будет должность заместителя директора, мне прибавят двадцать рублей, — как будто доверяя великую тайну, сказал Андри.

— Ну и при чем здесь камень?

— Нашего директора назначал Датики Васильич, ты же знаешь это. Каково мне было, когда ребята явились с пустыми руками да еще пожаловались, что ты их чуть на тот свет не отправил. Сколько камней в поле валяется, мы же не будем все пересчитывать и охранять, отец!..

— Этот камень не простой, — прервал сына Пантэ и встал. Он тоже сел к столу, снял очки и отложил их в сторону.

— Ты прав, может, это и не простой камень. Но ты — отец и должен войти в мое положение, — внезапно пошел на

вопятную Андри, — если ты не уступишь нашему директору, Датику Васильичу и другим, я потеряю это место.

— Как это — потеряешь?

— А так: когда человек идет тебе навстречу, отплатить ему тем же. Директор меня уважает, в районе я на хорошем счету. А тебе камня жалко для благополучия родного сына!

— Неужто твое начальство такое значение придает этому камню?

— Представь себе! Директор сказал, что это вопрос престижа. Пантэ, говорит, так себя ведет, как будто он один любит родину. На самом же деле, говорит, мы все прекрасно знаем, что он из себя представляет!

— А ты что сказал?

— А что я мог сказать?

— Ты был там, когда он это говорил?

— Да, был. Лучше бы я сквозь землю провалился! Главное, Датику Васильич приехал из района, и мы все стояли возле конторы: я, Васильич, Жора Иванович, Вако и Бучу. Васильич уезжал, и мы вышли его проводить... Я очень прошу тебя, отец, из-за этого камня не настраивай против себя людей и не порть мне дело.

— Этот камень — камень Давида Строителя, тебе ясно?

— Ясно, но сегодня так нужно.

— «Сегодня так нужно!» — передразнил сына Пантэ. — Интересно, почему это сегодня так нужно? Что такого произошло? Зачем тебе эта должность? Ты и так главный агроном!

— Значит, так и будем всю жизнь сидеть? Мать — педагог, отец — педагог, сын — агроном. Все рядовые, скромные труженики, с утра до ночи спину гнем и еле-еле концы с концами сводим. А может, все-таки попытаться чего-то добиться? Сегодня заместитель директора, завтра — директор, послезавтра, может, в район переведут, а там куда и повыше...

— Хватит! Возьмись за ум, не выставляй себя на посмеище, иначе не вверх, а вниз полетишь и шею свернешь! — повысил голос Пантэ.

— Хорошо, останусь заместителем директора, это тоже неплохо, и зарплата побольше моей, — Андри был угодлив, как будто не с отцом разговаривал, а к начальству подольщался. Пантэ неприятно поразил лисий оскал его улыбки.

— Тебе так хочется стать заместителем директора, сынок? — насмешливо сощурился он по своему обыкновению.

Андри плевать было на отцовские насмешки. Только бы уломать старика и завтра отправить этот проклятый камень в район, Датику Васильичу.

— Очень хочется, отец, я пять лет этого места жду, — Андри вскал из-за стола.

Пантэ уважал людей, которые честно и искренне, не жалея сил, служили общему делу. Если его сын хотел руководить, пусть не всем районом, а хотя бы родным селом, Пантэ мог только приветствовать это. Когда у человека есть цель и для достижения этой цели он не щадит себя, неудержимо к ней стремятся, такой человек достоин сочувствия, и карьеристом его не назовешь.



0419359240
302201101033

Пантэ внимательно разглядывал сына.

— Садись, чего стоишь, — наконец заговорил он, — ты вправду хочешь продвигнуться?

Андри снова подсел к столу, придвинул к себе пепельницу и закурил.

— Хочу — не то слово! Сплю и во сне вижу! Как будто я — заместитель директора, сижу в своем кабинете...

— Допустим, ты стал заместителем, — прервал его Пантэ, — потом директором, потом переведут тебя в район, выйдешь в начальники. Что ты тогда сделаешь?

— Что сделаю? — рассмеялся Андри. Он не ждал такого вопроса. — Встану наконец-то на ноги! Раз и навсегда! Жену с детьми в Ликани отправлю на отдых. Сам видишь, дети все время болеют... К дому пристройку сделаю... Дачу где-нибудь построю...

В глубине души Пантэ ждал такого ответа: сына он знал как свои пять пальцев. Кроме собственного благополучия, Андри ничто не интересовало.

— Значит, это все ложь, притворство? То, что ты с утра до ночи в свихозе, только и знаешь, что о планах да о делах...

— Почему ложь? — удивился Андри. — Если мы выполним план, в будущем году меня назначат заместителем директора. Зарплату прибавят. А если я сейчас не постараюсь, все может иначе обернуться...

— Можно подумать, что вы с женой очень нуждаетесь, — не уступал Пантэ.

— Конечно, нуждаемся! Знаешь, как люди живут! Ты носишься с этой церковью, два месяца пенсии домой не приносишь. Нели из-за ребенка на бюллетене, гроши получает... Моей и материнской зарплаты на все не хватает. Нели пальто нужно, да и обувь тоже, босая совсем... Дети болеют, надо на курорт везти... Одним словом, не знаю.. Голова кругом идет...

Андри приложил ладони к вискам и застыл в такой позе, словно жаждал отдохнуть от неотложных забот. Он сидел, вперив глаза в стол.

— Значит, все твое будущее зависит от камня, который валяется в церковном дворе? — после длительного молчания спросил Пантэ.

— Так получается, — согласился Андри и устремил на отца молящий взор.

— И вдобавок мы сами должны им этот камень послать?

— Нет, что ты! Они сами заберут, нас это не касается! — обрадованно воскликнул Андри. — Только надо постараться, чтоб это дело не получило огласки. Начнутся разговоры, ни к чему все это! Васильич сам приедет и заберет... Конечно, лучше, если бы мы сами ему отправили, в общем, не знаю... Тебе видней. — Андри, сияя, смотрел на отца, уверенный, что наконец-то уломал его.

— И чего они к этому камню прицепились? — снова спросил Пантэ.

— Какое нам до этого дело, отец? Наше дело отдать, а там пусть проваливаются ко всем чертям!



— Нет, я должен знать, зачем им камень. Спроси, если это не секрет, пусть скажут, а там увидим...

— Увидим? — сердце у Андри так и екнуло. — Да я просто с ума сойду!

— Зачем тебе с ума сходить? Пусть скажут, зачем им камень.

— Какое это для тебя имеет значение?

— Значит, имеет...

Андри не знал, говорить отцу правду или нет. Сообразительностью Важо он не отличался и выложил все начистоту.

— Дело в том, что Дати́ко Васи́льич в своем знамени-том марани делает камин. Зачем только камин в марани — не понимаю! — Андри из кожи лез, чтобы угодить отцу, и высказывал те мысли, которые, по его мнению, должны были прийти старику по душе. — С жиру бесится, понимаешь! Когда есть лишние деньги, то камин можно и во дворе соорудить, — он деланно рассмеялся, — Дати́ко Васи́льич — известный кутила, любит у камина с друзьями посидеть... Я однажды был в его марани, меня Жора Иваныч возил. Я тебе прямо скажу — это чудо, сказка! Камин у него, конечно, есть, но он говорит, что царский камин должен сделать. Твой камень, оказывается, внутри разноцветный. По-моему, он ему нужен для облицовки камина.

— Вот оно что, — протянул Пантэ, вставая, — а этот негодяй сказал мне, что камень вместо стола будет в марани...

— Какой негодяй?

— Да тот самый, Важо или как там его.

— Вместо стола? — задумался Андри, он понял свой промах, но было уже поздно.

— Этот камень я вам не дам, — решительно проговорил Пантэ и принялся вышагивать по комнате.

— А может, он действительно вместо стола его хочет, — испугался Андри, огорошенно глядя на отца, — Важо лучше знать, он все равно как управляющий, день и ночь у Васи́льича в доме. А я что? Я только краем уха слышал, может, это и не правда, — Андри вконец растерялся.

— Я все знал, потому и не дал им ничего, — ухмыльнулся Пантэ, — это Дави́да Строи́теля камень.

— Довольно, отец, хватит с нас неприятностей... Я прошу тебя, очень прошу, умоляю, если хочешь, на колени встану! — вскричал Андри и рухнул перед отцом на колени. Пантэ в изумлении воззрился на сына.

— Ты что — совсем спятил? Потерял и совесть, и самолюбие! — повысил голос Пантэ, пораженный и встревоженный выходкой сына.

— Послушай меня, отец...

— Я не желаю ничего слушать, встань и выйди отсюда! Уходи! — закричал Пантэ.

На шум прибежала Натэла, следом за ней Нели. Андри встал, одергивая на коленях брюки.

— Я прошу выслушать меня! — теперь и Андри повысил голос.

1935341
3032010333

— Что с вами, в чем дело! — кинулась между мужем и сыном Натэла, переводя непонимающий взгляд с одного на другого.

— Повторяется история с липой! — во весь голос завопил Андри. — Помните, что тогда было? — он обратился к женщинам, лица поддержки. — Он поднял такой шум из-за того, что липу срубили, что его вынудили уйти из школы. Так или нет так? Со всеми перессорился из-за одной несчастной липы! Ему что — медаль за это повесили? Защитник природы нашелся! А теперь к этому камню прицепился!..

— Камню? — удивилась Натэла. — Что еще за камень? — она сощурилась и кинула сердитый взгляд на мужа, стоявшего к ней спиной.

— Затвердил: камень Давида Строителя! И никого не подпускает... Камень какой-то валяется в этом проклятом дворе, а Датику Васильичу он нужен...

— Камень этот исторический, и никто не имеет права тащить его к себе домой! — отчеканил Пантэ и, обратившись к жене, добавил совсем другим тоном: — Идем пить чай, я с голоду умираю...

В столовой Пантэ сел за накрытый к ужину стол и решительным жестом налил в стакан заварки, как бы желая поставить под неприятным разговором точку. На самом же деле он лопался от досады и вовсе не расположен был ужинать.

— Ну и что ты этим хочешь доказать? — Андри вслед за отцом явился в столовую. Нели, словно на панихиде, с траурным видом встала рядом с ним, скрестив на груди руки.

— Памятник культуры тебе дороже сына.

— Андри, сыночек, тебе плохо? Ты так побледнел! — забеспокоилась Натэла. Потом она сердито посмотрела на мужа и закричала: — Что за камень за такой, что ты изводишь всех! — Честно говоря, она сама не знала, из-за чего кричит на Пантэ. Но раз Андри ссорился с отцом, значит, надо было его поддержать, Андри плохого не сделает. Наверно, виноват, как всегда, Пантэ.

— Можно подумать, что ты один уважаешь Давида Строителя, ты один все знаешь, где какой камень лежит, где какие развалины! — кричал Андри.

Женщины увели его в детскую и просили угомониться, чтобы не будить детей. Дети все равно проснулись. Гия плакал, Нели качала аквани и умоляла мужа успокоиться. Но Андри не собирался умолкать. Он выбежал из детской и снова подскочил к отцу.

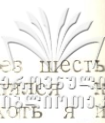
— Ты кто такой, я тебя спрашиваю! Сторож? Председатель Общества охраны памятников? Заведующий отделом культуры или директор краеведческого музея?! Кто поручил тебе стеречь Охвამекар?!..

— Я ни то, ни другое, ни третье, но камня я вам не дам, и все тут! — твердо стоял на своем Пантэ.

— Не дашь, потому что ты карьерист!

— Ого, это что-то новое, теперь я еще и карьерист! — засмеялся Пантэ, шумно отхлебывая горячий чай.

— А что — нет, скажешь? Педагог из тебя не получился, на административной должности не удержался...



— На какой это административной должности?

— Ты же был директором школы? Был! А через шесть месяцев тебя землю копать послали. Теперь приехали в этой церкви, авторитет решил заработать! Дескать, хоть я и на пенсии, но бескорыстно защищаю интересы общества. Но меня ты не проведешь и наше руководство не обманешь. Все всё знают — и здесь, и в районе...

— А что они такого знают? — все-таки заинтересовался Пантэ, кончив пить чай, оставил стакан с блюдцем, придвинул пепельницу и закурил.

В детской раздался плач Резо. Разбуженный шумом, мальчик раскапризничался.

— Тише, Андри, тише! Детей пожалейте! Как вам не стыдно! — Натэла подошла к Андри и усадила его за стол. — Выпей сначала чаю, а потом спорь!

Андри невольно подчинился и сел, но чай он пить вовсе не собирался. Тотчас вскочил как ужаленный и выпалил все, что когда-либо слышал от своего руководства:

— Все знают, что ты за общественный деятель! Что за друг природы и памятников! Знают, говорю... Оградил церковь... устроил там пастбище и хлев для своей коровы... Вот! Так все прямо и говорят: Пантэ государственную землю использует в личных целях.

Пантэ ждал чего угодно, только не этого. Ему стало горько, и он понурил голову... Что сказать, как ответить сыну? Все так: он пас корову в церковном дворе, иногда и теленка загонял туда же. У них во дворе корову пригласить негде. Где-то же нужно ее держать. Без коровы не обойтись: попробуй вырастить детей без молока.

— Хорошо, допустим, я дурной человек, — наконец заговорил Пантэ, — интриган, карьерист, лже-патриот и так далее. Какое это имеет отношение к камню?

— А вот такое! Не надо зазнаваться и ставить себя выше других. Лучше самому к себе относиться критически, тогда легче будет людям уступать, входить в положение сына.

— Андри, сыночек, чего ты его просишь, — вмешалась Натэла. — Вы же сами начальники, возьмите и отправьте этот камень Датику Васильичу.

— Пусть он даст согласие. Иначе знаешь ведь, какую бучу он поднимет, если без спросу увезем. Из-за паршивой липы он столько доносов писал, пока из школы не выгнали, не успокоился.

— Не нужно, Андри, ты никогда так грубо с отцом не разговаривал. Успокойся! — заступилась за мужа Натэла. — Не выгнали, а он сам написал заявление об уходе.

— Чего писать, когда дерево уже срублено! Правительство что ли прикажет ему снова вырасти. — Теперь Андри набросился на мать. — Объясни мне, какой толк в этих жалобах? А вот какой: мол, я один о деревне забочусь, а всем остальным плевать! Так ли это? Нет, не так. Мы с утра до ночи на плантациях спину гнем, трудимся, пот проливаем, считаем, планируем, уже сейчас знаем, сколько гектаров будет отведено под чай в двухтысячном году. Сколько будет выса-

жено тутовых деревьев и виноградной лозы. Все знаем! А он воображает, что один он любит деревню! Больше, чем змея! Хотите, я вам скажу правду? — внезапно спросил Андри, озаренный какой-то новой мыслью.

— Нет, сынок, не хотим! Довольно! Сядь, выпей чаю. Я тебе горяченького налью. Что на тебя сегодня нашло? — Натэла то кидалась мыть посуду, то наливала чай, переводя встревоженный взгляд с мужа на сына. Никак не могла понять причину раздражения Андри.

— Скажи уж все до конца, — заметил Пантэ, — на сердце полегчает.

— Ты любишь себя одного! — брякнул Андри. — Ты настоящий эгоист!

— Хватит, я сказала! — прикрикнула Натэла на сына и силой вывела его в детскую, где сдала с рук на руки жене. Сама вернулась к Пантэ, ей стало его жаль. Андри переборщил. В душе она считала, что он зря накинулся на отца, но чтобы Пантэ этого не почувствовал, она продолжала защищать сына.

— Да провались он совсем, этот камень! Стоит ли из-за него так нервничать? Отдай, и дело с концом!

Пантэ молчал, курил и думал, что предпринять завтра. Судя по всему, Андри получил от начальства нагоняй. Похоже, что сын намерен стоять на своем, и в доме будут сплошные неприятности.

— Ну что ты сидишь? Если кончил ужинать, ступай на балкон, приляг, отдохни... Другим тоже надо поесть... — выговаривала Натэла мужу.

— Я никому не мешаю. Пусть едят, пьют... Стол, слава богу, широкий, — Пантэ нервно взмахнул рукой, словно показывая, какой ширины у них стол.

— Ах, как ты отравляешь нам жизнь и как всех мучаешь! — пророботала Натэла, роняя слезы.

Пантэ мрачно взглянул на нее, встал и пошел в свою комнату.

3.

Назавтра Пантэ, ничего не сказав домашним, ушел чуть свет и пропал на целый день. Допоздна он пробыл в Охвемекари, сидел на камне Давида Строителя и думал. Время от времени он стирывал дверь в церковь, внимательно оглядывал все углы, словно готовился к чему-то, что-то измерял, приколочивал, подметал, одним словом, хлопотал и возился весь день. Домой вернулся затемно, молча лег и уснул. С домашними он не разговаривал, потихоньку пожевал кусок хлеба в своей комнате: есть не хотелось, но воду пил жадно. То и дело от досады пересыхало в горле.

Наутро он опять поспешил в Охвемекари. И снова провозился там допоздна. Шел третий день поста и отшельничества. Наконец он перетащил в Охвемекари тахту, ссылаясь

на то, что у него там работа; если устанет, сможет придеть, отдохнуть. Потом он незаметно уволок старую бурку, валяющуюся в кладовке. В общем, постепенно отделился от семьи, уединился, хотя обязанности свои продолжал выполнять: корову пас, кукурузу на мельницу носил и по-прежнему ходил за газовыми баллонами. А тем временем потихоньку оборудовал себе в церкви жилье.

Когда Пантэ утащил из дому тахту и в один прекрасный день не явился ночевать, Натэла решила пойти в Оххамекари. Пантэ столько говорил об этой священной обители предков, а она не пожелала своими глазами посмотреть на то, что он там сделал. Ей было жаль бессмысленно потраченной пенсии мужа, напрасных трудов. Лучше бы ты мне огород прополот, коли у тебя столько сил, ворчала она. Одним словом, Натэла отправилась в Оххамекари. Крутой подъем она одолела с трудом, тяжело дыша и проклиная строптивца. Пантэ стоял с топориком в руке, затенив глаза ладонью и глядя, как она медленно бредет в гору.

— Ах, это ты? — издали окликнул Пантэ жену, обрадованный ее приходом. — Испугалась? Я же предупредил, что буду тут ночевать...

Натэла открыла деревянную калитку, заложенную мужем на засов, и вошла во двор. Она оглядывалась по сторонам и ничего не говорила.

— Идем, этот камень там, — Пантэ взял ее за руку.

— Ты мне лучше покажи, где ты спал, — Натэла вырвала руку и пошла к церкви. Открыла проржавевшую железную дверь и вошла внутрь. Пантэ последовал за ней. В церквушке царил чистота и порядок. Натэла видела ее раньше, заваленную мусором, служившую убежищем для крыс и летучих мышей, и теперь она не верила собственным глазам — так Пантэ все вычистил и прибрал. Церковь имела форму креста. В вытянутых боковых рукавах были пробиты узкие окна.

— Вот моя кровать, — Пантэ указал на тахту под окном. Рядом к стене была прислонена старенькая «централка». Натэла удивленно уставилась на ружье: она-то считала, что оно валяется в подвале. Тщательно начищенное дуло блестело, а Натэла помнила его потемневшим и ржавым. «Зачем ему здесь ружье?..»

— От кого ты обороняешься, Пантэ? Как тебе только не стыдно! Ты что, совсем с ума спятил?.. — с укоризной проговорила Натэла.

— Поди сюда. — Пантэ сделал вид, что не слышит ее упреков. — Здесь когда-то был алтарь, а здесь, наверно, жертвенник, нету алтарной преграды, поэтому тут голо, как в чистом поле... Стена жертвенника тоже была разрушена, я сам ее поставил.

— Из дому, небось, кирпичи носил!..

— Нет, кирпичи здесь же валялись... Взгляни наверх! — Пантэ протянул руку к своду... — Здесь пролом зиял, я шифером покрыл.

— И шифер, наверно, из дому взял.

— Шифер взял, а кирпичи не брал. Ты же знаешь, я бы не стал скрывать... Шифера нет нигде, что было делать. Более, я взял немного! А теперь сюда пошли, — Пантэ живо рассказывал жене, что он сделал для церкви. — А здесь, помнишь, была гора мусора, с человеческого рост, я целую неделю разгребал, в овраг сбрасывал...

— Ну и что ты собираешься дальше делать? — прервала его монолог жена.

— Что собираюсь? — притворился удивленным Пантэ. — То же, что и раньше делал, — он как бы мимо ушей пропустил проницательный вопрос жены, — идем, я покажу тебе камень, — проговорил он поспешно и выскочил во двор. Он не хотел быть до конца откровенным. Да и, говоря начистоту, ничего особенного он делать не собирался. Его обидели несправедливые нападки сына, а в принципе ссориться с близкими он не хотел...

Натэла следом за ним вышла из церкви.

— И дверь эту я навесил, она была сорвана с петель и валялась тут, — Пантэ показал на железную дверь... — А в церкви свиньи паслись... Иди сюда! — Пантэ стоял под дзельквой.

— Отсюда вся Колхида — как на ладони. Смотри, как далеко наше село растянулось. А вот там — чайные плантации, еще дальше — виноградники... — Пантэ с протянутой рукой стоял на вершине холма и подробно рассказывал жене историю Охвамекари.

— Все это я не впервые слышу от тебя, Пантэ... Ты лучше скажи, что дальше делать собираешься...

— Идем теперь сюда, посмотри... — Пантэ повернулся, сделал несколько шагов и помахал жене рукой, — что ты заладила: «что дальше, что дальше!...».

— Пантэ, — позвала Натэла мужа, — если ты обижен на Андри, лучше езжай в Тбилиси или Сухуми, чем тут с крысами и мышами сидеть. У тебя не такие плохие дети, чтобы как бездомному где-то ночевать. Один обидел — иди к другому, с другим не поладил — к третьему...

Пантэ стало обидно, что жена пренебрегла доверительной беседой. Он холодно прервал ее и показал вдаль.

— А там, видишь, деревня кончается, дальше — лесничество, а между ними — голые холмы, но и эти холмы надо беречь. Кто знает, что там в глубине... — Пантэ топнул ногой, — может, под нами древний город колхов, может, здесь наша история похоронена. Пока я жив, никому не позволю здесь ничего трогать. Пошли, я покажу тебе камень...

Натэлу словно к месту пригвоздили. Не нравилось ей настроение мужа. Она не слушала его и думала лишь об одном: как спустить на землю витающего в облаках старика? Пантэ словно проник в ее мысли, подошел, взял за руку и проговорил с упреком:

— Столько лет вместе прожили, а характера моего не поняла? Ты думаешь, я здесь, потому что Андри обидел меня? Неужели я не нашел бы, что ему ответить?! Мне жаль его. Не получился из него настоящий человек. Только для



себя и для своей семьи старается, под себя гребет. Это, конечно, похвально, но... И даже не стал с ним спорить начал. Я сюда поднялся, чтобы охранять все это, ясно. Пантэ показал жене камень Давида Строителя. — Этот камень сверху упал, вон оттуда... Говорят, Давид Строитель один его поднял и подал монахам, видишь, там на углу как раз недостает камня, — Пантэ заставил жену поднять голову и посмотреть на разрушенную колокольню.

— У нас в школе говорят, что сказки это все, выдумки, — заметила Натэла.

— Кто говорит-то? Много они знают, твои учителя!

Натэла наклонилась к камню, с одной стороны его оглядела, с другой, обошла кругом.

— Ну, что? Обычный желтый камень, что в нем особенного? — спросила она.

— Обычный? — Пантэ наклонился и показал место, где кусок камня был отколот.

— Ой, он внутри красный, оказывается, — удивилась Натэла.

— Вот именно, — отозвался Пантэ. — Стали бы они интересоваться простым камнем! — Я думал, вся колокольня из такого камня сложена, но нет, этот один такой!

Пантэ с торжествующим видом поглядывал на жену.

— А теперь ответь мне на такой вопрос: откуда здесь появился цветной камень? Издалека монахи не могли привезти такую махину, значит, где-то поблизости была каменоломня, значит, здесь месторождение этого камня, а ты приглядишься — чем он хуже мрамора?

— Тем более, если это дорогой камень, зачем он должен здесь зря пропадать?

— А затем, что к нему руки наших предков прикасались. Они его сюда доставляли и отсылали. Не проси меня, Натэ, все равно не уступлю, все, что угодно уступлю, только не это... — Пантэ назвал жену «Натэ», как называл когда-то в молодости. Натэле это было приятно, как он и предполагал.

— Так что же нам делать? — сочувственно спросила Натэла.

— Исторический это камень, вот в чем дело, — сказал Пантэ.

— Неужели это правда, про Давида Строителя? — спросила Натэла.

— Народ так говорит, а народ мудр... Почему именно Давиду приписали легенду, а не другому царю?

— Не знаю. Сын убивается — начальник, говорит, со мной едва здороваешься, — вздохнула Натэла.

На минуту оба замолчали.

— Ты за этим поднялась? Он тебя послал? — после паузы спросил Пантэ.

— Нет, что ты! Клянусь детьми!..

— Как бы не так! Как будто я твоего Андри не знаю.

— Да похоронить мне его, если я лгу!

— Так я же вчера сказал тебе, что не приду, чего же ты чуть свет сюда поднималась? Когда у тебя урок?

— Успею, — Натэла взглянула на часы: видно было, что она хотела сказать что-то еще, но не решалась. — Гриша хотел тебя видеть, Петэлава, — наконец проговорила она.

— Завотделом культуры? — усмехнулся Пантэ. — Вызывает?

— Да не вызывает, когда, говорит, будет время, пусть зайдет.

— Тебя Гриша послал?

— Никто меня не посылал. Я сама пришла.

— Андри послал, я знаю.

— Допустим, Андри, что с этого? Что плохого мы сделали — он или я?

— Если бы Андри не путался у меня под ногами, этот камень я не то что завотделом культуры, а самому господу богу бы не отдал. Никто не посмеет меня вызвать и приказать: разбей исторический памятник и облицуй камин начальству. А если прикажет — я как раз этого и хочу... Но с сыном как быть... вот в чем беда! Так, значит, Андри пошел к завотделом культуры?

— Да провалиться мне на этом месте, если он куда-нибудь ходил!

— Эх, ничего ты не знаешь, Натэ... — снова смягчился Пантэ, — тебе что ни скажут, ты все за чистую монету принимаешь.

— При чем здесь Андри? Разве Датико Васильич сам не может позвонить Грише и сказать: доставьте мне этот камень собственноручно?..

— В том-то и дело, что не позвонит ни Датико Васильич, ни директор, они меня знают! Более того, они будут молчать о том, что было, пикнуть не посмеют! Зато мой сыночек словно белены объелся, никак не успокоится, из кожи вон лезет...

— Ладно, Пантэ, бога ради не поднимай шума из-за какого-то камня!

— Датико Васильич таких камней тысячу найдет, он уже и думать о нем забыл!

Натэла встала, собралась уходить, то и дело поглядывала на часы, но Пантэ расхотелся вовсю, и его не просто было унять.

— И его директор, Жюра Иваныч, тоже ничего не помнит, один Андри никак не уймется, потому что боится и Датико Васильича, и Жору, всех и всего боится... Ему мерещится, что начальство с ним не здороваётся, директор косо смотрит... Тени собственной пугается! Он превратился в настоящего подхалима. Иногда мне кажется, что он умер и у меня в доме покойник!..

— Ой, господи! — вскричала Натэла, в ужасе хлопнув себя по щеке. — Замолчи, Пантэ! Как тебе не стыдно, что ты такое говоришь! Кто станет тебя слушать! Андри — твой сын, старший сын. Ты не забыл об этом? Как же ты можешь говорить такое?..

И сожалению, каждый теперь печется лишь о собственных интересах. А нам нужны энтузиасты, чтобы в работу души вкладывали. Но не будем унывать. Есть у нас и ответственные люди, только нужно их увидеть. Мы должны быть принципиальными, обладать педагогическим тактом...

— Батоно Гриша, — снова прервал его Пантэ. — Я понимаю, что вам не до Охвამекари, но помогите мне только в одном — пусть мне не мешают, пусть не отнимают, не портят то, что я сделал...

Гриша встал, прошелся по кабинету и деловито обернулся к Пантэ:

— Пока я здесь, вас никто не тронет, батоно Пантэ, — проговорил он, как ему показалось, убедительно и проникновенно, — только Охвამекари нужно оборудовать еще лучше, — он задумался: у него сейчас, сию минуту рождалась идея, расширенными глазами он смотрел в окно, через окно — в небо. — Здесь мало одной ограды, Охвამекари мы превратим в музей под открытым небом!..

Пантэ не верил собственным ушам, он знал, что Гриша любит произносить громкие фразы, но сейчас он говорил как раз то, что давно вынашивал в своем сердце Пантэ.

— В музей? — переспросил Пантэ.

— Так точно, надо призвать на помощь пионеров и комсомольцев и организовать в Охвამекари музей под открытым небом. Будем привозить учащихся на экскурсии, пригласим гостей из других районов, привлечем писателей, композиторов, художников, будем устраивать встречи с выдающимися деятелями. Одним словом, превратим Охвამекари в очаг культуры, вот что главное!

— Эх, вашими бы устами да мед пить, батоно Гриша, но кто будет превращать Охвამекари в очаг культуры?.. Я?..

— Отвечу на ваш вопрос: вдвоем мы с вами ничего не сделаем, нужно приложить общие усилия, вся общественность должна принять участие.

Пантэ чувствовал, что терпение его на исходе: «Неужели только за этим он меня вызвал? Неужели только за этим?..» — думал он, рассеянно глядя на витийствующего Гришу.

— В конце концов, дело не в разрушенной церквушке, я слышал, в Италии такие церкви обливают бензином и сжигают. Вы бывали в Италии, батоно Пантэ?.. А я был по туристской путевке... Там таких церквей вообще не строили, ни в одном столетии. Там конюшни — и те лучше построены. И если мыслить в мировом масштабе, то столь пылкая защита Охвамекари может вызвать лишь улыбку. Нам, грузинам, следует быть поскромнее. Правда, памятник наш, и плох он или хорош, мы обязаны его охранять. Этим должны заняться вы, уважаемый, и наши активисты. Я уже говорил об этом. Но не надо забывать, что на свете существуют Рим и Афины... Зазнайство еще никому не приносило добра.

Пантэ обрадовался, подумал, что сейчас Гриша, наконец, скажет, зачем вызывал его сюда, перестанет ходить вокруг да около.

— Вы совершенно правы, зазнайство добра не принесет.

подтвердил Пантэ.

— В церковном дворе валяется какой-то камень. Когда он понадобился Датику Васильичу, мы подняли невообразимый шум. Так кто же одобрит наше поведение? В конце концов, не в камне дело. Что получается? Вы один — патриот, а все остальные? Датику Васильич — наш бывший начальник, можно сказать, взрастивший всех нас и воспитавший, Жора Иваныч — директор совхоза, Бучу — бригадир, ваш сын, если угодно, главный агроном, человек добросовестный и глубоко порядочный, наконец, я, заведующий отделом культуры, мы — не патриоты? В таком случае, кто мы такие? Ради чего трудимся и боремся? Некрасиво получается, батоно Пантэ, и я советую вам держаться поскромнее...

— Кто говорит, что вы не патриоты, а я патриот?..

— Так получается...

— Это камень Давида Строителя, упавший с колокольни... Пусть он лежит там, где лежал. Кто знает, для чего он может завтра понадобиться. Я ведь больше ничего не требую.

— О-о-о!.. — протянул Гриша многозначительно. — Видел я этот камень, и колокольню вспоминаю... — Гриша встал, походил по кабинету и, засунув руки в карманы, остановился прямо перед Пантэ, — знаете, что мы с вами сделаем, батоно Пантэ?.. Давайте отдадим этот камень Датику Васильичу... — сказав это, он снова начал ходить по кабинету, как будто еще не решил, отдавать камень или нет, — мы-то с вами знаем, что в Охвამекари — ни церковь, ни колокольня никакой ценности не представляют, ни культурной, ни исторической...

— Здесь я с вами не согласен..., — не утерпел Пантэ.

— Согласны вы или нет, это значения не имеет. Научкой установлено, что Охвამекари не является памятником истории и культуры, так что ваше согласие тут ничего не меняет. Я вам советую успокоиться, батоно Пантэ, и трезво обдумать этот вопрос.

— А я уже обдумал и решил, что никому не позволю дробить камень Давида Строителя для облицовки камина! — повысил голос Пантэ.

— Минуточку, минуточку, батоно Пантэ! Я прошу этот камень не для себя, а для вас, для вашей семьи, для вашего сына... — Гриша особенно подчеркнул: «для вашего сына» и выразительно выкатил глаза. Пантэ знал, что у Андри много друзей в райкоме и исполкоме; его сверстники занимали в районе высокие посты. Гриша тоже его одноклассник. Подозрения Пантэ оправдались... А Гриша продолжал взывать к благоразумию Пантэ:

— К чему этот тон: «не позволю», «для камина»! Как будто вы один разбираетесь в архитектуре! Почему вы не уважаете окружающих, батоно Пантэ? Почему повышаете голос? Я вас чем-нибудь обидел? Вел себя непочтительно? По-моему, вы должны благодарить меня за то, что я о вашей семье забочусь. Пора понимать, кто вам друг, а кто враг...

— Я камня не дам, пусть даже для родного сына! — отрезал Пантэ и встал, собираясь уходить.

Гриша разнервничался. Не думал, что Пантэ осмелится ему перечить.

— Минуточку, уважаемый! Почему вы так тебя ведете? В чем дело? Я вам не советую уходить.

Пантэ сел. Гриша стоял над ним: энергичный, упитанный, полный сил. Широкое лицо его побарзвело от гнева, и он бессмысленно вращал круглыми черными глазами, стараясь сдержаться и не выказать волнения.

— Мне интересно, по какому праву вы тут кричите: не дам, не дам! Кто вам позволил присваивать социалистическую собственность? Кто разрешил распоряжаться государственной землей! Мы не допустим, чтоб история с липой повторилась, батоно Пантэ! Я вас предупреждаю. Нам не до кляуз. Мы сами займемся Оххамекари. И если к вашему камню Давид Строитель и впрямь прикасался, мы его в музей сдадим.

— Понятно, — Пантэ встал. — Теперь я могу идти?

— Идите!

Пантэ медленно пошел к выходу. Чувствовалось, что он еще что-то хочет сказать. Наконец он обернулся и негромко проговорил:

— Батоно Гриша, чтобы не было недоразумения и не повторилась история с липой, я вас заранее предупреждаю: этот камень я никому не дам, уж не обессудьте!

— Пожалуйста, не давайте, — деланно засмеялся Гриша, — только не делайте вид, будто вы один любите родину и никто кроме вас не охраняет памятника! Кроме всего прочего, кстати сказать, ваш покорный слуга — председатель Общества охраны памятников.

— Ну и что? Где это ваше общество? Почему оно не охраняет памятники?

— Боже мой, сколько раз можно повторять одно и то же! Мы защищаем памятники, а не камни. Этот камень, который вы приписываете Давиду Строителю, обыкновенный булыжник, а не памятник. Что потерял Давид Строитель в вашем Оххамекари? Чего он там не видел? И не стыдно вам, батоно Пантэ, историю Грузии не знаете, а претензии у вас большие! Давид, может быть, за Кутаиси и не выезжал вовсе... Чаша терпения переполнилась. — вдруг прошептал Гриша, приблизившись к Пантэ, словно доверяя ему великую тайну, — не только у меня, но у всего нашего района.

— Это я тоже слышу не в первый раз... — ответил Пантэ спокойно и опять двинулся к выходу. Гриша следовал за ним.

— Верно, но мой вам совет, взвесьте как следует все обстоятельства... Для вас же лучше избавиться от этого камня. Не хотите давать Датию Васильичу? Пожалуйста, не давайте. Дело не в Датию Васильиче, а в том, чтобы перед своей совестью быть правым...

Пантэ махнул рукой, выскочил из кабинета, захлопнув дверь перед носом у Гриши.

После ссоры с сыном Пантэ твердо решил поставить камень на прежнее место и зацементировать его в стене. Но сделать это было не просто. Пантэ потихоньку готовился. По-спрашивал народ. Сначала ему посоветовали обычный водный раствор цемента, потом кто-то сказал, что лучше взять бетон. Подъемный кран был один на весь район: кто даст его для частных работ! Крановщик долго торговался, не хотел ехать в такую даль, наконец согласился.

Беседа с Гришей Петэлава встревожила Пантэ: надо спешить, решил он, иначе они отнимут у меня камень.

Не заезжая в деревню, он отправился зугдидским автобусом на стройку. На бетонном заводе работал один из его бывших учеников. Он разыскал его, рассказал о своей беде. Говорил о родине, о гражданском долге: во что бы то ни стало нужно раздобыть ведро цемента особой прочности. Бывший ученик оказался человеком отзывчивым. Цемент раздобыл, научил, как делать раствор и проводил старика до автобуса.

Пантэ вернулся домой поздно ночью. Как ворюшка, пробрался в кладовку, спрятал цемент. Натэла, проведав о возвращении мужа, поставила на огонь чайник, собрала ужин. Одним словом, встретила мужа, как встречала лет двадцать или тридцать назад. Она видела, что Пантэ стала тяготить домашняя обстановка. Надо было, чтобы он почувствовал тепло и уют семейного очага. Может, тогда он смягчится, думала Натэла, стараясь быть к мужу такой же внимательной, как в далекие, почти забытые времена.

Пантэ поднялся в дом, неторопливо вымыл руки и как ни в чем не бывало сел за стол. Из спальни вышел Андри, за ним Нели — протирая глаза. Все смотрели на Пантэ, ужинавшего в одиночестве, ждали от него новостей. Но Пантэ делал вид, будто поглощен своими мыслями и не замечает изнывающих от любопытства домочадцев.

— Ты скажешь, наконец, что-нибудь... До каких пор мы будем так сидеть, — упрекнула мужа Натэла.

— Что сказать?

— Мы ведь давно не виделись, дети хотят поговорить с тобой, — Натэла взглянула на Нели и Андри. Это их она называла «детьми». После памятной ночи Андри в самом деле много раз собирался поговорить с отцом, но Пантэ или не было дома, или он запирался в своей комнате и никого не впускал.

— Мне говорить не о чем, — внезапно заявил Пантэ и, залпом выпив остаток чая, направился в свою комнату.

— Отец, одну минуточку, у меня к тебе дело... — крикнул Андри. Но Пантэ не ответил, вошел к себе и заперся.

— Ладно, я сама с ним поговорю, — сказала Натэла сыну и снохе. — вы отдыхайте, ступайте к себе, я все сделаю.

Натэла пошла к мужу. Всю ночь они препирались громким шепотом. Андри и Нели, затаив дыхание, лежали в своих постелях, прислушиваясь, стараясь разобрать, какие вести

привез Пантэ из района. Но Пантэ ничего не говорит, а если Натэле удавалось что-нибудь у него выпытать, то она повторяла это вслух, чтобы слышал Андри. Пантэ, раскусив ловку жены, умолк совсем.

Натэла и так и сяк старалась задобрить мужа, подольститься к нему. Иногда терпение ей изменяло, и, не сдержавшись, она осыпала Пантэ горькими упреками. Но Пантэ упрямо молчал, как язык проглотил: не говорил ни хорошего, ни плохого. Всю ночь старики провели без сна и задремали лишь под утро.

6.

Крановщика Пантэ ждал после окончания рабочего дня. Тот лишь к заходу солнца добрался до Охвამекари. От районного центра до совхоза «Первое мая» было недалеко, но пока кран дополз до центра деревни, пока от центра по крутому подъему добирался до Охвამекари, прошло много времени. Пантэ сомневался, сможет ли этот дребезжащий, раздолбаный кран поднять камень, но крановщик ловко подsunул под камень трос, пропустил туда, обратно, потом быстро сел в кабину, поднял камень, остановил его в воздухе и указал Пантэ, чтобы он взбирался на колокольню. Пантэ понравился расторопный и ловкий парень. Он быстро, по крутой лесенке взбежал наверх, в мгновение ока вылил приготовленный заранее раствор и рукой показал крановщику, чтобы он подавал камень поближе. Хобот крана медленно двинулся к Пантэ. Теперь настала очередь Пантэ проявить расторопность. Крановщик снизу не видел, куда надо было класть камень. Если камень не встанет на место, одному Пантэ его не сдвинуть, цемент застынет, и все труды пойдут прахом! Кран легко, как пушинку, поднес камень, и тот повис прямо перед носом у Пантэ, покачиваясь, словно осенний лист. Пантэ решил рукой притянуть его к себе, но едва он взялся за трос, как камень качнуло в сторону и Пантэ едва не сорвался с колокольни. Он струхнул, быстро убрал руку и крикнул крановщику, чтобы тот поднес камень еще ближе. Крановщик вылез из кабины, и, задрав голову, стал осматривать колокольню.

— Ты мне кричи «вира» или «майна», а то я не вижу! — крикнул он Пантэ.

— Вира, вира! — закричал Пантэ. Крановщик включил двигатель, и камень поплыл вверх.

— Стоп! — остановил его Пантэ. — А теперь майна, майна!

Камень медленно опустился.

— Но мне, ко мне, — махал руками Пантэ, — еще чуть-чуть, еще немного — и... майна! — командовал он, как заводской строитель.

— Вот так хорошо! — обрадовался Пантэ, когда камень точно лег на свое место. Он долго хлопотал вокруг него, заходил и справа, и слева, смотрел, хорошо ли стоит, не косо ли, не упадет ли. Налег на камень изо всех сил. Убедившись, что все в порядке, крикнул крановщику, что можно снимать трос. Крановщик как можно осторожнее разматывал трос, с трудом вытягивая его из-под камня. Пантэ расплатился с ним, горячо поблагодарил, и крановщик уехал.

Солнце уже зашло, но в Охвамекари, на вершине холма, было еще светло. Пантэ должен был успеть засветло зацементировать камень, иначе потом пришлось бы дожидаться восхода луны. Едва крановщик отбыл, Пантэ поспешил на колокольню. Лестница была разрушена, и приходилось долго нащупывать место, чтобы поставить ногу, тем более что сумрак уже проник внутрь колокольни, и здесь было совсем темно. Но Пантэ и в темноте ориентировался прекрасно, бойко прокладывал себе путь, уверенно переставлял ноги по щербатым ступенькам и быстро поднимался вверх. Колокольня разве только называлась колокольней — от нее одни стены остались, ни сводчатой арки, под которой когда-то висели колокола, ни площадки для звонаря.

Пантэ поднялся по лестнице — наверху сначала показалась его голова, потом он высунулся по пояс, тяжело дыша и охая, он поставил на выступ стены ведро с раствором, проверил хорошенько верхнюю ступеньку лестницы — не осыпется ли под ногой, прислонился к противоположной стене и заработал мастерком не хуже иного каменщика. Раствор он сделал, как его научили, по всем правилам, и мастерком орудовать ему было не в диковинку. В общем, прошло совсем немного времени, как все щели изнутри были надежно зацементированы. Он сам не ожидал, что можно так быстро и аккуратно закрепить камень в стене. Но главное — заделать все дыры снаружи. Вот тут, конечно, придется попотеть. Пантэ выпрямился, перевел дух, перегнулся через край стены и посмотрел на только что уложенный камень. Было ясно, что до самого низа ему не дотянуться. А если он хочет навсегда, невыблемо вмуровать камень в стену, необходимо и снаружи заделать все щели. Пантэ приподнялся на цыпочки. Первые мазки дались без особого труда, но по мере того, как увеличивалось расстояние, ему приходилось налегать грудью на соседний камень и вытягивать руку все больше. Убедившись, что старые стены вполне надежны, Пантэ высунулся почти по пояс и, низко наклонившись, долго и старательно работал мастерком. Потом передвинулся и стал обрабатывать камень с другой стороны. Он так старался, что умудрился с трех сторон закрепить камень прочным, как железо, цементом. Если бы не щель, которая осталась после того, как крановщик вытянул из-под камня трос, можно было считать, что камень Да-вида Строителя прочно посажен на свое место в кладке. Не будь Пантэ таким дотошным и неутомимым, он оставил бы эту щель и пошел бы себе домой. Но как он мог, потратив столько сил, не заделать и эту последнюю дыру!

«Попробую еще разок, будь что будет», — решил Пантэ, снова перегнулся через стену и вытянул руку. Но как ни старался, до дыры дотянуться не смог. Тогда Пантэ нащупал на стене выступ, куда можно было поставить ногу, лег животом на стену, сначала одну ногу перенес, потом вторую. Повис на одной руке, во вторую взял мастерок с цементом...

С какой любовью и тщанием он работал! С каким азартом, и пылом, будто от него зависела судьба страны и народа, словно не мастерок он держал в руке, а саблю булатной стали и в дружине Давида Строителя сражался с врагом в Дидгори!... Еще один мазок и... Пантэ, исполнив свой долг, счастливый и гордый, спустится с колокольни...

Ему показалось, что спора ускользает из-под ног, он испугался — не начал ли крошиться камень, поглядел вниз — высоко! Он прижал колено к стене, одной рукой и коленом попытался удержаться покрепче. Последнюю щель заполнил цементом и кинул мастерок вверх, но в ведро не попал. Теперь и второй рукой он ухватился за край стены, подсобил и другой ногой. Но почувствовал, что от усталости каждый мускул в нем дрожит и вибрирует и он никак не может подтянуться. В полном изнеможении он повис, как мешок... Так и висел... А что было делать? Силы покидали его. Тогда он решил, что лучше спрыгнуть, чем упасть. Спрыгну, решил он, и еще раз в отчаянии поглядел вниз. Всего каких-нибудь два—три метра отделяли его от земли. Он решился и разжал пальцы. Сорвался... Заскользил вдоль стены, полетел пулей вниз, потеряв равновесие и рухнув наземь, ударился лбом о каменную кладку колокольни. Больше он ничего не помнил. Когда пришел в себя, первое, что увидел, был серп молодого месяца. Луна уже успела взойти и словно птица сидела на верхушке дзелквы. Пантэ почувствовал боль в виске. Боль напомнила ему о случившемся. Им овладел страх. «Жив я или нет?» — подумал он, ощупывая себя руками. Представил, как летел с колокольни. «Неужели ничего не сломал?»... Пантэ боялся, что у него сломана нога, а о голове он не думал: ничего страшного, ушиб голову и потерял сознание. Радовался, что остался цел-невредим. Как мальчишка, прыгнул с трехметровой высоты — и пожалуйста, никаких переломов, жив-здоров! Назло врагам камень зацементировал в стене. Пусть теперь колокольню разбирают! Стоило ради такого дела потрудиться. Теперь он сядет спокойно под дзелквой, закурит сигарету, полюбуется на плоды своих трудов. Пантэ решил встать, но едва шевельнулся, заподозрил неладное; все-таки заставил себя подняться, сделал несколько шагов к дереву, но тут земля

— Дидгорская битва (1121 г.) принесла грузинам победу над турками и помогла очистить страну от неприятеля.

стала уплывать из-под ног, и он как подкошенный рухнул лицом вниз. Что это?.. Он снова попытался встать, но тщетно. Не мог двинуть головой — словно кто-то всадил ему в висок острый нож, да так и оставил. Глаза-то он открывал, но видел одну лишь мглу. Искал серп месяца, но его не было, вокруг простиралась непроницаемая тьма. Такими никогда не видел Пантэ окрестности Охвамекари. Это был особый мрак, особая тишина и молчание царили вокруг: «Уж не умираю ли я? — мелькнуло в сознании Пантэ. — Неужто и в самом деле умираю?».

«Неужели и вправду настал мой час?» — лежа ничком, уже в который раз задавал он земле этот вопрос, чувствуя, как поднимается в нем радость. Радость поднималась из глубины души, росла, ширилась, охватывая все его существо. Чему он радовался? Смерти? Еще недавно радовался жизни, а теперь смерти радуется?

А все-таки удивительно: человек умирал в одиночестве, вдали от родной деревни и родного дома, а на лице его расцветала улыбка. Словно не на тот свет, а на свадьбу он собирался. Такую смерть, если бы она не пришла сама, следовало придумать! Такая смерть была логическим завершением его жизни. И если односельчане не проникнут в суть его конца, то уж Андри наверняка поймет. Хочет не хочет, а придется ему рассказывать детям о камне Давида Строителя!.. — С чистой совестью, сознанием исполненного долга, не побежденным, а победившим уходил Пантэ из этой жизни. Про себя, тайком Пантэ даже героем себя вообразил: чем не героическая гибель? О лучшем конце и мечтать нечего! Наверно, смешно было так думать, но у Пантэ уже не оставалось сил, чтобы отмахнуться от назойливых фантазий и трезво взглянуть хотя бы на последние мгновенья своей жизни.

Откуда-то донеслось ржание коней, из векового безмолвия и мрака....

На Дидгорское поле выехали двести всадников. Воины с трудом удерживали коней, рвущих удила, роющих копытами землю. Среди всадников Пантэ увидел и себя на белом жеребце. Коленами он крепко сжимал бока скакуна, собрав в кулак удила, гнал коня во всю прыть.

Турки думали, что Давид Строитель послал столь малочисленный отряд для переговоров, и потому замешкались.

Пантэ первым выхватил саблю из ножен. Первым крикнул малочисленной дружине: «Бей их!». Поздно опомнились враги, поздно раскусили хитрую уловку грузин... Следом за конниками двинулась сорокатысячная армия Давида Строителя..

Ах, беда, не дожил Пантэ, Пантэ кровью истекал, у Пантэ в глазах потемнело, иначе бы увидел он, как над Дидгорской равниной полыхает алое, как кровь, знамя победы.

Узкий серп месяца, сначала висевший на верхушке дзельквы, лебедем проплыл над колокольней, с любопытством взгля-

нул на старика, уткнувшегося лицом в землю, и, скрывшись за белыми облаками, умчался к западу.



7.

Когда Пантэ не вернулся ночью домой, Натэла решила, что он остался ночевать в церкви. Раз он так убивается из-за этих развалин, раз никого не слушается, бог с ним, пусть делает, что хочет, — думала она. Утром Натэла спокойно отправилась в школу: она ведь собственными глазами видела, вполне сносное жильё оборудовал себе ее муж в Охвამекари...

Весть о внезапной смерти Пантэ один из сотрудников Краеведческого музея принес в деревню лишь назавтра, в полдень.

Гриша Петэлава, оказывается, послал сотрудника к Пантэ на переговоры. Сотрудник, увидев Пантэ лежащим под деревом, решил, что он спит, и долго его тряс, пытаясь разбудить. Поскольку Пантэ не просыпался, сотрудник заподозрил неладное и повернул его на спину. При виде мертвенной бледности, покрывавшей лицо старика, перепуганный гость поднял крик в надежде, что его услышит кто-нибудь из работающих неподалеку в поле.

В конце концов он прибежал в совхоз сам не свой и сообщил ужасную весть.

Скоропостижная смерть Пантэ всколыхнула всю деревню. Чего только ни говорили! Но Андри и в эти печальные дни не потерял бдительности. Ему вовсе не хотелось, чтобы о его отце болтали, что он как дурак из-за камня жизни лишился. Не нравилось ему также, когда кое-кто преувеличивал заслуги старика и изображал его чуть ли не героем.

Ссылаясь на экспертизу и врачей, Андри распространил следующую версию: нервный был человек Пантэ, вел беспокойную жизнь, вот и случилось у него кровоизлияние.

Натэла просила сына похоронить отца в Охвамекари, раз уж он так любил там бывать и считал, что там находятся могилы предков. Но Андри и этот вопрос решил с присущей ему трезвостью. Верно, род Джаава издавна был связан с Охвамекари, и, как говорили в деревне, именно там их всех хоронили, но это было давным-давно. А сегодня совхоз «Первое мая» располагал новым кладбищем, где хоронили всех, так почему же Пантэ надо хоронить отдельно? По мнению Андри, это было бы ничем не оправданной нескромностью. Отец был обычным рядовым педагогом и умер смертью обычного рядового человека и должен быть похоронен там же, где все.

О водворении камня Давида Строителя на исконное место узнало всего несколько человек. Но особого значения этому никто не придавал. Всю же историю с камнем, от начала до конца, знала только семья погибшего. И больше никто.

Дати́ко Васи́льич никогда́ больше не упомина́л о ка́мне, не зна́л он и о том, что ка́мень бы́л водворе́н на ме́сто. Ему́ откуда-то привезли е́ще лу́чший ка́мень, и он облицо́вал сво́й ка́мин.

На похоро́нах Па́нтэ прису́тствовали и Дати́ко Васи́льич, и Гри́ша Пете́лава, и Жо́ра Ива́ныч, и Бучу́, и Ва́жо...

Поминки́ были́ скромные, немно́гочисленные, сорокови́ны то́же. Ната́ла долго́ оплаки́вала сво́его непу́тевого́ мужа́, долго́ не снима́ла трау́ра, проси́ла сынове́й поста́вить на моги́ле Па́нтэ хотя́ бы просту́ю желе́зную о́граду.

Поско́льку Андри́ понес и без того́ доста́точно расхо́дов, надгробие́м заня́лись его́ бра́тья. На гра́нитной плите́ бы́л вы́бит профи́ль Па́нтэ, а под ни́м высе́чена надпи́сь: «Педа́гог Па́нтэ Джа́ава, 1905—1970».

Перевод Анаиды БЕСТАВАШВИЛИ

* * *

Бездарен жалкий трус в беде.
В беде талантливы отважные,
и вот грузин
за стол к себе
Смерть пригласил,
как гостью важную.
Ее он под локоть провел
на место самое почетное
и не испортил этим стол,
хоть было платье гостыи —
черное...

Никто из мертвых не забыт
в застолье Грузии без оханья,
и превратились просто в быт
все панихиды
или похороны.

И призрак смерти присмирел,
и призрак смерти одаماشнился,
под крышей угол присмотрел,
и вместе с нами пьет по-нашему.

В глубинах страха смерти нет,
как нету страха перед родственницей, —
что омрачаться ей в ответ?
С ней можно шуткой перебраться!
И как я «маленькой» сочту
страну,
что смертью не уменьшена,
где каждый миг
все на счету —
все —
и живые, и умершие!

Монолог Иуды

На горных склонах
ветер звезды пас,
и молвил нам учитель
е-болью скрытой:
«Петух три раза не успеет вскрикнуть, —

я буду предан
кем-нибудь из вас».
Мешал учитель в очаге золу.
Мы не могли сказать в ответ ни слова,
как будто сразу
вся мирская злоба
подсела с краю
к нашему столу.
Учитель нас улыбкою согрел,
но в ней печаль сквозила сокровенно,
и постепенно,
будто бы измена,
крик петуха за окнами созрел.

Молчали мы
и горные вершины.
Срок иссякал.
Сквозь тучи свет проник,
и первый крик раздался петушиный,
как совести моей предсмертный крик.

Швырялся ветер
тучами, как пеной,
так, что разверзлось небо, накреньясь,
и крик второй
раздался над вселенной,
но не было предателя меж нас.
Так неужели ты ошибся, пастырь,
учитель,
ясновидец и пророк?
Святыня рухнет,
разобьется насмерть,
когда слова не сбудутся в свой срок.

Предательство без низкого расчета
возможно ли?

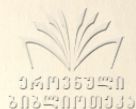
Ответа бог не даст,
но бог умрет навеки,
если кто-то

по предсказанью —
бога не предаст.

И я решил,
встав над собой и веком,
лобзанием лживым осквернив уста,
пожертвовать Иисусом-человеком,
спасая этим господу-Христа...

Скорей, скорей!

Ночь шла уже на убыль,
и в этой окровавленной ночи
поцеловал учителя я в губы,
чтобы его узнали палачи.





* * *

Мечешься.
Ищешь.
Хочешь все сразу.
Избеспокоился.
Перестарался.
Может, рассчитываешь на разум,
если ты с чувствами так заигрался?
Разве себя ты еще не насытил,
голодом нового изможденный?
Если считаешь,
что ты — победитель,
это и значит,
что ты — побежденный!
Приобретаешь все больше,
но голод
приобретения — беспощаден.
Если вползает в твою душу холод,
это и значит,
что ты — обкраден.

Перевод Евгения ЕВТУШЕНКО

Любовь земли

Нет, планета наша не сурова!
Торы и леса, пески и лед —
силой притяжения земного
любят все, что на земле живет.

Но земля измены не прощает,
и карает сыновей своих...
Торе тем, кто вырваться решает
из ее объятий вековых!

Перевод Маргариты АЛИГЕР

Аквариум

На зыбком ложе ветренного моря,
накрытые водой, как одеялом,
и головы склонив на облака,
усталые, без сна лежали мы...
И наши обнаженные тела
сплелись так крепко, что похожи были
на осьминогов или на растенье

с безлиственными змеями ветвей,
которые в воде слегка качались...
Вокруг носились стаи легких рыб,
и было видно, как они мелькали
в проемах между нашими ногами,
зиявшими глубинной темнотой...
Я мучался желанием одним, —
оно меня всего переполняло
и жгло, как жажда мучает в пустыне:
мерцающие раковины дна
твои ступни, как кольца, украшали,
и я хотел ступни поцеловать...
А море колыхалось и шурило.
Его поверхность покрывала зыбь,
подобная изысканной чеканке.
Но там — на глубине, на самом дне,
в той тишине, которая бывает
лишь после битвы яростной и долгой,
где, словно после трудного сраженья,
дремали два уставших наших тела.
Бог знает, что происходило там!
Быть может, жизнь — невиданное чудо
в то время зарождалась на земле?
Но знали мы, что море, суша, небо
и облака, застывшие на нем,
и раковины с матовым мерцаньем,
и легкие стремительные рыбки,
и сами мы с тобой, под одеялом,
на зыбком ложе ветренного моря —
все это было только повторенье
того, что здесь уже случилось прежде,
что было на земле
давным-давно...

Перевод Зои МЕЖИРОВОЙ



Т Р И Р А С С К А З А

Поездка

МНЕ четырнадцать, и я счастлив... Мы с отцом идем к вокзалу неспешно, молча, как молчат мужчины, уставшие за день. Поезд уходит ровно в полночь. Я несу чемодан, отец — широкий и толстый портфель. Я искоса поглядываю на отца. Его крупные, чуть нависают глаза поблескивают, встречаясь с тусклым светом редких фонарей. Высоко подбритый висок косо уходит к раковине уха, на шее, почти у челюсти, лиловая родинка, смахивающая на бородавку. Мясистая щека выбрита до синевы. (Отец умер, когда мне было тридцать, в душный уже с утра августовский день. Он промучился ровно сутки, и ему было очень больно. Я мчался на газике из больницы в больницу, от врача к врачу, зная, что все уже кончено, но надежда, горчайшая надежда, все еще тлела во мне: образуется, образуется, образуется).

Вокзал встречает нас извечной, слегка уже притомленной из-за позднего времени, суетой. В кассах — ни билета. Мы толчемся у кассы недолго, по инерции, а потом направляемся прямо к поезду, еще затемненному, но уже тяжелеющему от прибывающего люда. Мы шагаем от вагона к вагону, отец взглядывается в лица проводников, надеясь отыскать знакомое. Я — рядом, гляжу на проводников, уныло переживая наш путь назад, домой. Но все кончается благополучно. Проводник, шаркая подошвами и размахивая неярким фонарем, ведет нас в свое купе, пахнущее свежим дорожным еще сырватым бельем, усаживает на краешек узкой койки, а затем, заперев дверь, уходит. Отец откидывается на серые мягкие тюки, улыбочиво и победно на меня взглядывает сквозь триспущенные веки и мгновенно, без всякого перехода всхрапывает. Я смотрю в оконную темень с чересполосницей набегающих огней и нетерпеливо тереблю подбородок. Я весь уже там, в Кутаиси, таком желанном — Кутаиси. (Боже мой, мне сейчас совсем не хочется в Кутаиси. Коли придется, так по нужде, поневоле. Как-то отпал он от сердца, от снов и дней

моих. Лишь звук его имени нет-нет да и заставит вздрогнуть вдруг, напряхся, обожжет ненароком: Ку-та-иси).

Поезд трогается, и с каждым стуком колес в меня входит радость. Ожидание сводит мышцы, не дает спать. А поезд, покряхтывая, еще не разогнавшись, уже тормозит, а затем снова нудно и тягуче набирает ход. Отец спит шумно и беспокойно. Я гляжу на его веки, бугорчатые от крупных глаз, мохнатые брови, широченный в залысинах лоб, и мне хорошо и покойно. («Познакомься, это мой муж...». Этот мужчина ее муж. Как она изменилась. Стала повыше, да и потоньше, но лицо чужое, далекое, безглазое какое-то, зато уверенное. «Где ты был, где, почему не приехал, не увез, не взял, не похитил, я и сейчас еще люблю тебя...». А я даже не помнил ее, так вдруг мелькнет в тяжелом сне и все, не помню. Она — моя жена? Нет, нет. Она его жена, того, этого, но не моя. Просто мне было четырнадцать, и был Кутаиси, и она четырнадцатилетняя, уже налитая всеми земными соками. Было).

— На, выпей стаканчик! Сколько тебе, семнадцать есть уже?... Угадал, значит! Да ты пей, пей, вино, оно полезное... Так вот. Молодец, Бери, бери сигаретку. Небось в школе по туалетам покуриваете, а? Бери, бери, мужчина уже. А я братец, как с фронта вернулся, курить бросил было, да потом опять пристрастился. Да-а-а. А он отец тебе, да? Похож, похож. Притомился, видать, ишь как наяривает. Да и тебе поспать не грех. Мне-то нельзя, лезут разные. Сначала было туго, а теперь пообвык. Отосплюсь за двоих на досуге. Вам в Риони слезать? В шесть будем. Ну и ветер там. У-у-у. Хашури уже, пойду двери открою, а ты поспи чуток... (Марилиси, Молити, Ципа, Аджамети, Свири, Риони... код, сладчайший код моего детства, музыка, отблеск, ожидание. Моей дочке — шесть. К бабушке она ездит на метро: три остановки, эскалатор: вверх — прозрачные лица, облитые неоном, навстречу, вниз. К другой бабушке пять остановок на троллейбусе — проспект, еще один, улица, улица, два поворота, площадь, улица, улица, все, приехали. Марилиси, Молити, Ципа, Аджамети, Свири, Риони, забытая мелодия).

— Что, почему, что... — Отцовское лицо склонилось над мной — Риони, слышишь, через десять минут Риони..

Возвращаюсь медленно из бессонного сна. Вскакиваю. Холодная вода отгоняет остатки сна. Риони. Проводник небрежно, не глядя, берет у отца деньги, сует их в карман, жмет отцовскую руку, хлопает меня по плечу и хитро при этом подмигивает. Риони. Остановка. Кряхтя спрыгивают на крупный гравий все еще не отошедшие ото сна люди, и, смешно подпрыгивая, под свист мощных налетов ветра, семян к единственной покрытой брезентом полуторжке. До Кутаиси километров восемь, другого транспорта нет. Мы тоже сунулись было к машине, но там уже битком, не втиснуться.

— Хочешь пешком, не устанешь? — с сомнением спрашивает отец. Я молча иду вперед. — Не так быстро. А то за тобой не угнаться.

Сагорийский лес, погруженный в предрассветный сумрак, поет на разные голоса. Вокруг фантастические силуэты, свисты, вздохи, кряхтенье, вскрики. Ветер и мрак. Я жажду,

боюсь, замираю, напрягаюсь, захлебываюсь в ожидании чего-то, ну нападения разбойников, что ли. Вот когда я покажу свою удал, силу своих еще не затвердевших, но уже разлитых мышц. Хук, апперкот, правой-левой, раз, раз! Я азартно размахиваю чемоданом, отец удивленно на меня смотрит, потом хохочет. А ветер подгоняет вперед, вперед. Серый с солнечными прожилками день начинается над Сагорийским лесом. Возбуждение улеглось, все предметы как бы рождаются наново, прорезаются из сворачивающейся тьмы.

Балахвани. Кутаиси.

(Моя дочка хлопочет, помогая своей матери укладывать чемодан. Я впервые везу ее в Кутаиси на школьные каникулы. Я волнуюсь, как бывало раньше. Каким-то он покажется ей? Глаза мои, устремленные внутрь, в прошлое, такое ушедшее и невыразимое, ей не передать.

Дети, они первичны. Моя любовь ведь может и не стать ее любовью. И тогда... как и что рассказать ей, человечку, у которого в жилах — не вся, но моя — кровь. А может, и не стоит ничего рассказывать? Состояние, дунсвение, трепет, дрожь, отлившиеся в слово, становятся, если не ложью, то фальшью, сентиментальной чушью, ничего, кроме неловкого сострадания, не вызывающими. Я смотрю, как она отбирает свои платица, колготки и еще какие-то вещи с неведомым, по крайней мере мне, назначением, напевая, бессмысленные для меня, но наполненные глубочайшим — для нее — смыслом песенки, и целиком доверяюсь ее детскому незамутненному чутью, почти нюху, для взрослого непостижимому и того менее достижимому).

Вот он, наш дом. Стоит только подняться вверх по лениво ползущей в гору кривой улице без единого деревца, но зато усаженной самыми причудливыми домами. Дома следуют кривизне улицы, и если один их край высоко возносится над улицей, являя квадратное матовое окно подвала, то другим, противоположным углом они тупо утыкаются прямо в землю, и окно комнаты лишь по величине и форме можно отличить от подвального. Наш дом стар, сшит он из порыжевших досок — флигель, и ноздреватых камней — фасад. Пять тесаных белых камней лестницы ведут к бурой двери с бабочкой звонка справа. Отец стучит рукой в окно, а я выворачиваю крылья бабочке. И дом, доселе молчаливый, взрывается топотом босых ног, приветственными воплями, пугающими и будящими соседей по всей улице. Заспанные лица расплываются в рамках сонных домов, некоторые окна распахиваются, и люди громко со значением здороваются с отцом, отпускают в мой адрес потрепанные комплименты о росте и прочем, спрашивают, надолго ли мы в Кутаиси. Наконец все легкомысленные запоры нашего подъезда откинута, дверь распаивается настезь и целая гирлянда двоюродных братьев повисает на моей длинной шее, пытаюсь поцеловать или просто потискать. Бабушка, уже, конечно, плача, ждет своей очереди поздороваться. Она жива. Мы все вместе...

Мне четырнадцать, и я счастлив.

ЛИСТАЯ недавно старый семейный альбом, я наткнулся на одну фотографию. На ней изображен я — собственной персоной — десятилетний, с круглыми трюковыми глазами, волосами ежиком — по тогдашней моде, лопоухий, в сером костюмчике, пошитом мамой специально для так и не сбывшихся концертов, со скрипкой — в одной и смычком — в другой руке. На оборотной стороне карточки моим — тогдашним — почерком было написано: «Скрипачом — не хочу, хочу — лейтенантом» — и подпись — неумелая, полностью, с залихватским вензелем.

То, что я не хотел быть скрипачом — помню — не хотел до дрожи, стыдился своей ладной скрипки в брезентовом футлярчике, перешитом из отцовской плащ-палатки, но почему лейтенантом, а не майором, генералом — не вспомнить ни за что; был, наверное, какой-то лейтенант из любимых — про войну — книг, а может, сосед, которому я подражал, форма которого с двумя друг против друга маленькими звездочками на погонах, снилась по ночам — на мне — еще не взрослом — но уже лей-те-нан-те. Но скрипачом... Откуда в нашем вообще-то не очень меломанном доме возникла идея сделать из меня скрипача — установить сейчас трудно, но факт остается фактом — из меня выкраивали, тесали, лепили скрипача — упорно, вопреки моему отчаянному сопротивлению, прямому саботажу, даже злым мальчишеским слезам.

Я метался, изворачивался, замышлял тысячу три способа, как сжить со света скрипку, словно в ее хрупком, невесомом, изящно изогнутом теле таилось чудовище, изводившее мою вольную мальчишескую жизнь. Я терзал ее струны наканифоленным смычком, щипал их скрюченными пальцами, душил потной ладонью ее кокетливую лебединую шею. Скрипка огрызалась жутким скрежетом, стонала, вырывалась из моих рук. Война наша шла непрерывно, не на живот, а на смерть — победителя не было — страдали мы оба.

Наконец, я прибег к испытанному средству всех скрипачоненавистников, принесшему мне хоть и небольшое, но облегчение: на покосившийся металлический попиптр, занятый по обыкновению нотами, я устанавливал книги про войну. Разрывы снарядов, рев пикирующих бомбардировщиков, свист пули я маскировал скрипичными воплями, но иногда в самых напряженных местах я увлекался и, забывшись, снимал заградительный огонь или точнее дымовую завесу. Тогда открывалась дверь комнаты, и в ней появлялось грозное, бдящее лицо матери, привлеченной подозрительным молчанием скрипки. Страшась разоблачения, я торопливо, с удвоенной

энергией продолжал перепиливать надвое тонкую талию неавиственной мучительницы.

В музыкальной школе было всего три учителя — двоих было по скрипке, и я по очереди менял их одного за другим, но сколько не меняясь от этого сам. Мой учитель...

Первым был Арташес Михайлович — небольшого роста, чуть повыше меня — восьмилетнего, лысый, круглый, в жилетке, с часами-луковицей в кармашке. Жил он позади бывшего кадетского корпуса в двухэтажном доме с грузным деревянным балконом, на втором этаже. Жил с матерью — крошечной, очень симпатичной старушкой — румяное круглое лицо с седыми буклями. Она, по ее словам, страдала мигренью вот уже пятьдесят лет — со дня рождения Артика — так она называла сына, — и поэтому лоб ее всегда был туго повязан сложенной вдвое косынкой. Занимали они две продолговатые комнаты, выходящие в галерею и освещаемые из нее же уже потерявшим силу и яркость светом. Поэтому наши занятия проходили при свете тяжелой люстры, свисавшей на кованых цепях так низко, что, подними я руку, запросто достал бы до лампочки, сдавленной неизвестно кому принадлежащей бронзовой пятерней. В комнате стояла качалка, в которой всегда сидел Арташес Михайлович — в фиолетовом, в темных пятнах шелковом халате на вате, поверх неизменной жилетки и накрахмаленной, со скрипучим воротником, сорочки — бабочка — черная с божьей коровкой посередке. Был в комнате и рояль, небольшой, под стать моему учителю — крышка его опиралась на черный, порыжевший резной столбик, клавиши рояля были желтые с зазубринками на переднем крае. Ноты устанавливались на деревянном выдвинутом пюпитре — на уровне моих, а значит, и Арташеса Михайловича глаз.

Я бежал к нему после школы, днем, подкрадывался со своим футляром под мышкой к подъезду и, нажав на пятачок звонка — звонок получался оглушительный, хриплый, — тут же вплотную вдавливался в массивную дубовую дверь. Почти одновременно со звонком открывалась дверь балкона и показывалась повязанная косынкой голова Гаянэ Семеновны — матери Артишока (мой вариант учительского имени). Она близоруко смотрела вниз — никого не было видно — ох, эти мальчишки — качала она головой и закрывала дверь. Я опять повторял свой номер — он всякий раз удавался мне великолепно. Только с третьего захода я — невинное простодушное лицо — громко здоровался с Гаянэ Семеновной, и дверь медленно, с придыханием отворялась. Проволока ткнулась по всей лестнице — широкой, с деревянными ступеньками и перилами, делавшей крутой вираж, — потянешь проволоку наверху — дверь внизу отверзалась. «Сезам, откройся», — бормотал я трижды, упреждая дверь. И начиналось. Артишок был терпелив и вежлив. Кругло поводя руками и изящно выгибая ладонь, он ставил мне руку — ни за что не ставилась, — показывал, говорил, тихим картавым голосом, на «Вы» обращаясь ко мне:

«Молодой человек, вы не торопитесь, расслабьте руку. Так, так, еще, встряхните пальцами, а вот сейчас берите смы-

чок, не хватайте его, нет, он не любит фамильярности, та-ак. Приготовились...». И все сначала. Бес-ко-неч-но. Качалка, вдруг опустев, качалась по инерции, Артишок, фехтуя, пока зывал мне, как держать смычок, халат хлопал, скрипка сире жетала, я, стыдясь собственной бездарности, потел, старался. Заходила Гаянэ Семеновна, садилась в уголке, доброжелательно, через пенсне глядя на меня, а я еще больше стеснялся, руки становились деревянными, не мне принадлежащими. Артишок ходил около, удивлялся, округляя глаза, всплескивал беспомощно ручками. Так продолжалось два года. Скрипку держать я научился. Смычок тоже. Этим и ограничились мои успехи. Артишок, краснея лысой головой, пытался вежливо объяснить что-то моей матери, но все было бесполезно. Вердикт матери был крут и бесповоротен. Из круглых мягких ручек Артишока (тюфяк!) я переходил в «железные» руки Адольфа Исааковича, игравшего по совместительству в оркестрике — до начала сеансов — в кинотеатре «Спартак», с колоннами, с эстрадой между ними, перед потрепанными — в ряд—стульями.

Я страшился этих «железных» рук невероятно. Владелец их представлялся мне эдаким громилой с багровым лицом, громовым голосом и мертвой хваткой. Я шел на встречу с ним, а ноги мои останавливались на полпути. Я вспоминал скрипучий воротник Артишока, добрый взгляд Гаянэ Семеновны, и мне делалось тоскливо и одиноко. Жил мой новый учитель в крохотном флигелечке из одной комнаты и кухоньки — не повернуться — во дворе городского ломбарда. Первое, что я увидел, подойдя к дому, — опромная толпа женщин. Человеку непосвященному было не разобрать, в чем тут дело — напоминало барахолку: женщины с шубами, с мужскими костюмами, с коробками, картонками, пакетами. Тут же были милиционеры, тщетно пытавшиеся установить очередь. Гул стоял такой — одно бесконечное слово — словно крутилась карусель в Муштайде — перекатываясь, взлетая и опадая вновь, гул, плотно спрессованный из самых разных голосов, вылезавших, выскакивавших то и дело из этого плотного кома, как пружины из старого дивана, рассекавших пронзительно небольшое пространство двора. Мой страх усилился. Я шел, выставив вперед руку со скрипкой, проходил сквозь говорливый строй женщин, безнадежно осознавая, что путь к бегству уже отрезан этой толпой, этим гулом, непреодолимым и толкающим упруго в спину между лопаток—иди, иди, иди. Налетел вдруг на толстого, толстеного — никогда, нигде толще не видел — мальчика — куртка с выпуклыми металлическими пуговицами, казалось, лопнет вот-вот по швам на жирных, заполнявших без складок, целиком всю ее плечах. Лицо, словно надутый до отказа велосипедным насосом футбольный мяч, а над ним черные волосы — стружкой. Было не до смеху — я спросил его, как пройти к Адольфу Исааковичу. «К-к-к нам, значит?» — ответил он, заикаясь, несильно, но заметно, без удивления осмотрев всего меня сразу маленькими быстрыми на почти недвижимом лице глазками. «С-скрипка у тебя к-какая?» Я и не знал какая. «Обыкновенная, какая еще». «А у меня Я-зоновская, — похвалился он. —

п-пойдем, пок-кажу». Прямо со двора — три ступенечки — вступили в кухню, горелый лук, попеременно со стойким чесночным духом, и через невысокий порожек — в комнату — квадратную, с широченной тахтой, массивным пианино с окном где-то под потолком, неоткрывающимся. Запах сырости и непроветриваемого жилища. «От-тца пока нет. Скоро придет — у него педсовет. Вот — посмотри». Открыл великолепный кожаный футляр — красный бархат изнутри — лениво возлежала на нем густокоричневая, мерцающая, не чета моей, скрипка, туг же — каждый в своем углублении — смычок, подушечка, коробочка с канифолью. Взял бархотку, протер деку — без единой пылинки — тщательно, едва прикасаясь. «А я и обед готовить умею, — сказал он, неожиданно не заикаясь. — Мы с батей живем вдвоем и готовим по очереди — у меня получается вкуснее, так батя говорит». Его неподвижные бледные щеки запуцовели.

«Нашел чем хвалиться, девчонка что ли», — подумал я про себя незло, над другим посмеялся бы — над ним не хотелось, и сам не знал почему.

«А мама твоя где?» — спросил просто так, чтобы спросить. Он открыл рот, ответить, наверное, что-то заходило в горле, пошли отдельные звуки, в слова не связываясь, наконец, сложились, удалось сложить. «Мама умерла, в Киеве, убили ее фашисты. Про Бабий Яр слышал?» — Откуда мне было знать? — «Наши все там похоронены — и дед, и бабка, и тети две. Мы в Тбилиси недавно живем, сами-то киевские. Я, знаешь, маленький был худющий-худющий, как спичка, меня в подвале соседка наша прятала — отсырел, наверно, — распух. Батя, когда приехал, не узнал даже, смотрит, смотрит — и не узнает, представляешь, и я его не узнал, да и как узнаешь, когда видел я его еще до войны, два года мне было... Добрый у меня батя», — заключил он вдруг, как струну оборвал — завибрировал и затих. Меня, словно водой окатили, стою глазами хлопаю, не знаю, что сказать, как сказать, вот тебе и «железные» руки, думаю. Вдруг настезь дверь, в кухню ворвался человек коренастый, широкоплечий, бородавка — выпукло — почти черная на левой щеке, с густыми бровями, курчавый — весь в колечках, пегий, метнулся в уголок кухоньки, пошарил по столу, видно положил что-то, вбежал в комнату и скороговоркой выпалил: «Велвеле, привет, давно пришел? Обед согрел или холодным съел, а, признавайся? А это кто? Очки, где очки? А-ха, вот где они, та-а-ак. Здравствуй. Это что, твой новый приятель? Нет? Ах, ко мне, ну-с, давай знакомиться. Ну и чудесно. Велвеле сыт, а вот мы с тобой — голодные, давай вместе пообедаем, добре? Почему это? Э-э, брат, так не годится. Ну что с тобой делать, поговори тут с Велвеле, я мигом...». И выскочил сразу, не отдышавшись, на кухню. Какое чудное у этого толстяка имя — Велвеле. Он как бы угадал: «Вообще-то меня зовут Вольф — Вова значит, но отец называет меня Велвеле», — пояснил, как извинился.

«Ну-с покажи, что ты умеешь, та-ак, хватка у тебя что надо, и это хорошо, а что дальше? Не может быть! Настрой скрипку — не умеешь? Велвеле, настрой ты — смотри как —

УДК 82.09
ББК 84.030.01

до-до-до — ми-ми-ми, понял? Не понял? Да-а-а. Стоп, стоп, это что же такое? Ка-ак, и этого не знаешь? Хорош, хорош! Давай договоримся, скажи сразу, что умеешь и чего не умеешь. Ничего? Так я и думал, чуяло мое серденько. А хочешь умереть? Нет? То есть, как это нет? Так что же, выходит, мы время зря переводить будем? Так негоже, господь не поможет. Нет-нет-нет. Велвеле, сыграй ему что-нибудь, может, захочет, а?». И этот толстяк берет ласково-осторожно в руки свои — окорока — скрипку, мерцающую, как лунный свет на воде, упирается в нее подбородком — и... Я никогда еще не слышал такого. Кто-то заплакал тоненько-тоненько, успокаивают — уговаривают вполголоса, мягко — басовито, не слушает, тянет свое жалостливо, вскрик, заплескалось, снова бас, оборвался, заговорили громко на все голоса — затопили жалостливое, где-то вдали — еще дальше, дальше, исчезло, погасло, конец. Велвеле стоит, закрыв глаза, бледный, опустив руку со смычком, подбородок убрал, чуть отодвинул скрипку, держит ее на весу. У отца его горят глаза, брови ходят ходунком, притих, пальцы, худые, длинные (железные?), сжал, переплел, до хруста, до белизны на суставах, смуглых. Меня не видят, бочком подвигаюсь к выходу, уйти, исчезнуть, раствориться...

«Скрипка, уважаемая, требует или да, или нет, посмотрим здесь не бывает. Вы меня понимаете?» — Мама явно его не понимает. «Он говорит нет, и он знает, что говорит, поверьте мне. Руки у него хорошие, голова тоже, но сердце — к скрипке повернуто спиной, понимаете? Спиной». И сам повернулся резко, неожиданно спиной к нам, показывая. «Нет, говорит он, но вы не подумайте, это не он говорит, нет, ему сердце подсказывает, понимаете, сердце, а я не могу без сердца, не могу!». Ставит он точку указательным пальцем после долгого и рваного полета руки. Но для мамы это, увы, не точка, а всего лишь запятая... И я перехожу к третьему по счету своему учителю, настоящему артисту — Станиславу Викентьевичу.

Да, Станислав Викентьевич был настоящим артистом, во всяком случае, все артисты рисовались мне в ту пору именно такими, и только такими. Был он истощен, ноги-ходули — узкие, в обтяжку брюки со штрипками еще больше подчеркивали их худобу. Рост — высоченный, но был бы еще выше, сумей он распрямить свою согнутую — не как у стариков — у горбунов, спину. Плечи — одно выше другого, полукругом охватывают впалую грудь, неожиданно короткая шея несет небольшую голову с тяжелыми прямыми, по плечи волосами — каштановыми с седыми прядями по ту и эту сторону пробора. Нос — тонкий, с горбинкой разделяет далеко друг от друга отстоящие и глубоко всаженные под мощные надбровные дуги серые глаза. Ходил он трудно: ставил правую — потом осторожно, чуть передохнув, подтягивал левую. Руки — тонкие, без мышц, кость остро проступала сквозь тонкую же дряблую кожу — заканчивались книзу громадными кистями со вздувшимися венами — пальцы вдвое длиннее ладоней. Когда я увидел его впервые — потряс мое воображение. И голос приглушенный, тягучий, как из другой комнаты. Чер-

ная бархатная куртка — глухая до шеи — виднелась лишь белая полоска сорочки — была густо посыпана перхотью. Он поздоровался со мной за руку, усадил на стул, позвал громко: «Тася», продолжая на меня смотреть грустно. Выка- тилась из-за перегородки, не до потолка перегородки — женщина — ростом ему по пояс, колобок с красным, непримет- ным — ничего не вспомнить, кроме красноты кирпичной — лицом. «Познакомься, вот, новенький мой». Женщина здоро- ровалась обеими руками — пожала мою руку одной, потом прихлопнула сверху другой, ласково — голос прекрасный — низкий, грудной, завораживающий...

(Этим голосом: «Эх, кабы знать, милос, кому жизнь что приготовит, может, и вовсе человек на свет не родится. Стани- слав Викентьевич, вот, талантом бог не обидел, отрезал пол- ный ломоть — живи, радуйся, ан судьба иначе решила... Я-то в этом и сейчас еще плохо разумею, но вот что люди о нем думали знающие, погляди». Громадный серый альбом, а в нем чего только нет — пожелтевшие вырезки из газет и журна- лов, шестеро сложенные афиши — аршинными буквами фа- милия и имя моего учителя, тут же его фотографии: стройный, прямой, во фраке, с высокой шеей — горделиво голова — скрипка маленькая у него, огромного, в руке, кланяется, цве- ты в корзинах у ног. Фотографии, фотографии, фотографии. «Великий был артист, лауреат. А все война... Совестьливый — страх. В ополчение — и ни в какую. Это он-то — с ружьем да лопатой — а все пошел, не мог не пойти. Ранило его так — как жив остался, ума не приложу. Увидела его впервой в гос- ппитале — сестрой я там была, испугалась, жизни в нем было от силы на два часа — полуслепой, весь скрюченный, позвоночник перебит, не собрать. А лицо такое светлое-свет- лое, вижу, как кровинки по жилочкам переливаются, еле-еле, с натугой. Выходила. Прилепился ко мне — что дитя малое. Я его на ноги поставила — лети, сокол ясный, не про меня твоя дорога — остался со мной. Какая ему от меня прибыль, да подмога, не знаю. Скрипку в руки и сейчас не берет — так как раньше не под силу уже, а просто так — не желает. Приеха- ли мы сюда — фамилию сменить решил было — мою взять хотел: нет, говорит, меня — погиб под Москвой, ты меня за- ново родила — вот и буду, мол, под твоей фамилией. Еле от- говорила).

Вдруг в комнате появилась — я скорее почувствовал, чем увидел, — девочка, маленькая, прозрачная, с белыми пуши- стыми волосами. Одуванчик: встанет у белой стены — не раз- глядеть, и в поллица — серые, немигающие глаза. Выгляды- вает из-за матери — испуганно. «А это — Станя — Стани- слава, значит. Поздоровайся, Станя...».

Жизнь моя круго изменилась. К Станиславу Викентьеви- чу я ходил с радостью, бежал к нему бегом, боясь опоздать. Скрипкой мы почти не занимались — с этим все было покон- чено, во всяком случае для меня... Посреди комнаты стояла круглая жестяная печь — топили ее опилками — я таскал их из подвала ведрами — замечательно пахнущие, тяжелые, чуть сыроватые опилки. Печка накалялась докрас- на, а на ней чайник с вечно подпрыгивающей крышкой. Мы

941935344
941935333

пили чай с вареньем — черноплодная рябина — присылали тете Тасе с Урала, и Станислав Викентьевич рассказывал. Я и Станя сидели, как мыши — тихо-тихо, и слушали про Америку и Париж, Вену и Варшаву, про концерты и конкурсы, про великих пианистов и скрипачей. Ничего не помню сейчас, кроме голоса, как из другой комнаты, из-за перегородки не до потолка, чтобы тепло — оно вверх поднимается — разливалось по всей комнате. Неслышно перекатывается тетя Тася — руки вечно заняты вязанием, поглядывает издали на мужа, не устал ли, подливает в большие чашки чай...

Открылось все до обидного просто: я с треском завалил экзамен, и меня отчислили из музыкальной школы за полную бездарность. Станислав Викентьевич был за меня рад — понимал. Скандал дома — грандиозный, но даже мама опустила руки, сдалась. К Станиславу Викентьевичу мне было строго-настроено запрещено ходить (изменник!), но иногда удавалось к нему забежать на минутку. Встречали меня возгласами восторга и чаем с черноплодной рябиной. В комнате было тепло и уютно.

Ни скрипачом, ни лейтенантом я не стал.



Баня

МЫ КРУЖИЛИ по душным, без единого дерева мулочкам старого города, верша ритуал, ставший протокольно - обязательным для всех гостей. Собственно, гостями были они, мои спутники, русский бородач с круглыми, постоянно удивленными глазами за такими же круглыми стеклами очков и худощавый полууноша-полумужчина в шортах, с крупными пятнами веснушек на безбородом, но морщинистом лице. Я выполнял обязанности гида с удовольствием, радуясь редкой возможности просто так, без всякого дела пошляться по известным с детства, но уже позабытым из-за постоянной занятости местам. Я говорил мало, давая возможность моим новым знакомым самим проникнуться неведомым им бытом, ощутить его разительную несходимость с их повседневной жизнью и, по желанию, понять его. Да они и не задавали вопросов, принимая все, как есть, ничуть не удив-

ляясь, не выказывая обычных туристских восторгов. Узкие полукруглые дворы с разнокалиберными деревянными балконами, громоздящимися один над другим без всякой иерархии и архитектурных уместностей, были красивы, но, воздух застаившийся, и жить здесь — просто тяжело. А ведь живут: дети гоняют мяч, играют в «кочи»¹, дерутся, разомлевшие женщины прямо на балконных керогазах огромными половниками помешивают пряные варенья, ткемали, квацарахи в сияющих медных тазах, покрикивают на детей, громко переговариваются друг с другом, вытирают несвежими фартуками распаренные лица. Мужчины играют в нарды, смачно подначивая друг друга, стук «каматэли»², дробный и глуховатый, преследует нас повсюду. На нас смотрят вполглаза, привычно, приторно безразлично. И нам неловко быть мимолетными соглядатаями творящейся здесь жизни, и мы, молча, быстро уходим прочь.

Я сын этих дворов, балконов, игр, я знаю их код, ритм, последовательность жестов, но я не могу этого рассказать своим спутникам, да и невозможно это рассказать. И я просто называю улицы, деревья, игры, имена, как будто эти имена что-то могут сказать им сами, без моего вмешательства. «Да, да», — понимающе кивают головой мои спутники. Я благодарен им за это «да, да», за терпеливость и молчание. Мы спускаемся вниз, к Майдану, переходим через мост и идем к баням, к тбилисским серным баням, о которых еще Пушкин... Я внутренне напрягаюсь, я жду. И вот оно: «Скажите, а бани и сейчас еще действуют?». Это говорит бородач, и я понимаю его вопрос. «Конечно, конечно. Может, заглянем?». — «Если вам не трудно...», «Отчего же, — говорю я как можно безразличней. — Только вот в какую?». Я знаю в какую, я знаю об этом вот уже тридцать лет, сколько помню себя. Знаю, но я не был здесь уже десять лет, и вот оно. «В какую?». «Да нам, вы знаете, все равно, — почти в один голос говорят мои спутники, — Вам видней». И я веду их, минуя роскошную голубизну мирзоевской, мимо влажной прохлады 7², наискосок от стеклянных куполов 5¹ к заветной 3¹, да, да, именно к 3¹. Мы спускаемся вниз по каменным ступенькам в подземелье, освещаемое лампочкой, горячей вполнакала, и я уверенно толкаю дверь, разбухшую от вьшейейся сырости. Белый халат презрительно отбирает наши билеты и квитанции на простыни и небрежным жестом указывает на пустые шкафчики для одежды. Я совершил тягчайшее в его глазах преступление — взял билеты в кассе, как какой-нибудь приезжий. Он не знает меня, но моя уверенность, с какой я ориентируюсь в его царстве, говорит ему о многом. Он даже не глядит в мою сторону.

Ну что ж. Мы раздеваемся ритуально медленно, не спеша обнажить наши давно уже не юношеские торсы, дотошно складываем в шкафчики одежду и стеснительно багровеем спинами. Я выискиваю в большом чане гулкие деревянные шлепанцы на всю компанию, придирчиво проверяю узкие задубев-

¹ Кочи (груз.) — бабки.

² Каматэли (груз.) — игральные кости.

кресенье было детским баннным днем, потому что взрослые все как один отправлялись по своим облюбленным баням по субботам. Начиная с четырех часов пополудни составлялся естественный график, и наши мамы, взгромоздив на чада железные громадные котлы и чаны, часами кипятили воду для купания. И начиналась пора, полная детского визга, шлепков, строгих материнских окриков и плача. Бывали и ЧП. Вдруг запахивалась дверь кухни и оттуда с благим ором выскочивало чье-нибудь дитя, голо-розовое, с белыми клочьями мыльной пены на голове и мчалось к своим дверям, оставляя на некрашеном полу мокрые следы своего позорного бегства. За ним, потрясая мочалкой и гневно крича, неслась мама и, ухватив беглеца за что попало, веско водворяла его в корыто. Поэтому ходить в баню со взрослыми изначально для нас причаститься к иному, высшему миру больших, миру сладостному и таинственному. Мига этого ждали с трепетом и жаром. Посвященные, задыхаясь от гордости, посвящали в таинство непосвященных, и это еще более распалило воображение и нетерпение. И потом, чемоданчик для белья, мочалки и прочих банных атрибутов, маленький квадратный чемоданчик — предмет всеобщего вожделения и страсти. Обладатель его был уже взрослым со всеми проистекающими отсюда правами и возможностями.

О, мир этого вечного и всеобщего Нельзя. Как мечтали мы вырваться из твоих цепких объятий и по нами же выдуманым эфемерным мостикам вбежать в великое Можно. Нетерпеливо и настойчиво утверждали мы свое право жить в мире взрослых и часто не ведали, что мир взрослых тоже состоит из этих Нельзя и Можно. Все это придет потом, а пока...

«Что это за дикая причуда брать шестилетнего мальчика в баню?»

«Ну когда-нибудь это ведь должно случиться».

«Когда-нибудь — это еще не сейчас. Не отпущу».

«Да брось ты, мужчина он уже».

«Какой еще тебе мужчина? Да он и вымыться не сумеет».

«А мекисе на что? Так его надраит — любо-дорого».

«О боже, мекисе еще не хватало. Не смей и подпускать к нему мекисе. Он этой мочалкой всяких грязных мужиков трет. Не отпущу».

«Опомнись, да что ты говоришь, грязных...»

«И потом там всякие бактерии, зараза всякая...»

«Ну, бактериям серного духа не выдержать, подохнут»

«Глупые шутки, не отпущу, я тебе сказала...»

«Уймись ты, наконец, хватит, собирай чемоданчик...»

«Не приказывай, сама знаю, что делать»

«Ну так и делай, пора уже...»

«Не отпущу я его, не отпущу...»

«Опять за свое, собирай, говорю...»

«Чему ты мальчика учишь? Может, еще и на футбол его таскать будешь, а?»

«И буду, а что? Завтра же возьму, завтра же».

«Сумасшедший, ну прямо сумасшедший какой-то».

«Пора ему мужчиной становится, пора, не то потом от юбки не отвязешь, маменькиного сынка вырастишь. Баста». Он стоит в комнате углом и за его широкой спиной сокрыты от глаз людских тюфяки, подушки и всякая всячина. Родители разговаривают вполголоса, свистящим шепотом, и я то безнадежно понижаю при маминых репликах, то вновь с надеждой вскидываюсь при ответах отца. Я понимаю, что папа сделает по-своему, и мне немножечко жаль маму, но... баня, футбол, чемоданчик. Ура-а!

И вот я уже с чемоданчиком, коричневым чемоданчиком с никелированным замочком, который отскакивает, стоит только нажать на круглую пуговицу с дырочкой для ключа, с жатым, матерчатым карманчиком и с малюсеньким зеркальцем. Чемоданчик сестрин, она ходит с ним на гимнастику и даже притронуться к нему не дает, жадюга. Но теперь я держу его за шершавую ручку и, стараясь подладиться под шаг отца, осторожно несу его в оттопыренной руке. Кажется, что вся улица смотрит мне вслед, и уши мои полыхают негасимым пламенем.

Путь наш в баню был долог и извилист. Будь моя воля, я бы припустил бегом, но мужчине так не пристало, и я, всеми силами стараясь унять зуд в непослушных ногах, чинно вышагиваю рядом с отцом. Парикмахерская, в которой всегда стрижется и бреется отец, далеко в стороне от нашей дороги, но мы все-таки идем туда. Парикмахерская — небольшая с фанерными стенами комнатка-чулан, к ней ведут три деревянные ступеньки, на которых сейчас восседают два парикмахера, настолько поглощенные игрой в нарды, что нас они и не замечают. Один из них — высокий, плечистый мужчина с пышной седой привой, с вислыми седыми же усами, другой — низенький круглолысоголовый, но тоже с усами — ниточкой. Глаза у него выпучены, как будто кто-то невидимый крепко сжимает ему горло. Но самое главное в нем — уши. Я никогда не видел таких громадных, причудливо загнуто-выгнутых ушей, из которых пучками вылезают жесткие черные волосы. Высокий парикмахер звался Георгием, низенький — Гарегином. Работали они вместе с незапамятных времен, и клиенты у них были со стажем, которого любому за глаза хватило бы для пенсии. Мастера они были знаменитые, со своими правилами и почерком. Брили они клиента по часу, а то и по два, с расстановкой, с приличествующей солидной беседой и немислимым по нынешним временам числом процедур. Парикмахерская внутри была голубая, вся обклеенная, огоньковскими репродукциями, прилежавшими друг к другу безо всяких видимых швов так плотно, что казалось, комната прямо с ними и появилась на свет. Цветастая занавеска-ширма отделяла от маленькой комнатки уголок, где всегда коптила керосинка с клокочущим медным тазом на ней. Одна стена сплошь была занята двумя громадными расписными по краям зеркалами с мраморными столиками, на которых толпилось невероятное количество бутылочек, пузырьков, склянок, пудрениц, машинок для стрижки и лезвий с широкими, узкими, матовыми, сверкающими, закрытыми и открытыми

клинками. Кресла в парикмахерской были деревянные, широкие с выдвинутой спинкой. Стульев для клиентов не было, да и хоть бы были, где им тут поместиться. Ожидающие сидели прямо на ступеньках, играя в нарды, либо, заняв очередь, уходили по своим делам.

Гарегин в последний раз бросил «каматэли» и, крикнув, встал. «Проиграл», — махнул он рукой и вошел в парикмахерскую, приглашая зайти отца. Оставшись без партнера, Георгий огорчился, но тут он увидел меня и оживился. «Хочешь в нарды научу, а?». Польщенный его вниманием, я покраснел, но тут же отрицательно замотал головой. «Не хочешь, значит, ай-ай-ай, мужчине без нард нельзя. Скучно», — рубанул он воздух узкой и длинной ладонью. «Не приставай к ребенку, еще найдешь себе партнера», — крикнул ему Гарегин из-за занавески. Но Георгий, уже не слыша его, крутил ус и отрешенно смотрел вдаль немигающими, иссиня-черными собачьими глазами. Я проскользнул мимо него в парикмахерскую и притулился к стенке прямо за отцовским креслом. Высокая спинка скрывала от меня отца, но зато в зеркале так хорошо было видно его покрытое белой дымящейся салфеткой лицо с закрытыми глазами и бисеринками пота на лбу. Гарегин поглаживал руками по салфетке, и отец морщился блаженно, видно, было горячо, но и приятно. А Гарегин тихо, но очень внятно рассказывал, вопрошал и тут же сам отвечал на свои вопросы. «В таком возрасте остаться без жены, знаешь, каково? И без какой жены? Ты же знавал Мариам — клад была, а не женщина, царствие ей небесное. Двух слов бывало не скажет, сапоги снимет, приборет за ним как за дитем малым. Он ведь, знаешь, какой у нас лорд — всегда накрахмаленный - наутюженный халат, с бабочкой. Ума не приложу, как он переживет... После гибели сына она так и не оправилась... Э-эх, какой был парень, а? Проклятая война — всех клиентов наших располовинила... Поверишь, посидел он за одну ночь. Утром увидел — не признал человека. А какой был цвет волос — чисто воронье крыло. Ни сединочки в шестьдесят шесть-то лет. Да-а-а. Я вот всю жизнь бобылем прожил. Все на свете умею: и прибрать, и постирать, и обед состряпаю — пальчики оближешь. А он... Да что и говорить, тяжело. Я вот предложил ему ко мне перебраться, так нет, упрямится, гордый. На людях держится, а стоит одному остаться... Э-эх, какой человек, червонное золото...». Отец что-то невнятно мычит из-под салфетки и сочувственно хлопает веками. Мне стало скучно, я глазел на репродукции, но в ушах у меня перекачивался крутлый шепоток Гарегина. А он неторопливо массировал отцовские щеки, водил по ремню лезвием, пробовал его ладонью и так же неторопливо волосок за волоском выбривал жесткую отцовскую щетину. Я уже не мог устоять на месте и потихоньку выбрался на улицу. Георгий, выпрямившись, по-прежнему глядел куда-то вдаль. Когда я остановился возле него, он вдруг встрепенулся, долго вглядывался в мое лицо и неслышно шевелил губами. Мне стало не по себе, я просто не знал куда деваться. Наконец, в дверях появился отец. Гарегин, продолжая что-то говорить ему на ухо, щеткой смахивал с его пиджака волоски. Отец согласно

живал головой, потом пожал Гарегину руку, поклонился Ге-
оргию, и мы пошли дальше.

«Что за нудный старикашка этот Гарегин», — сказал я. Отец молчал, но его крупные ноздри вдруг напряглись, вздулись, снова опали и вновь вздулись. Это значило, что отец сердится. «Говорит, говорит, ну прямо балаболка какая-то», — осторожно продолжил я. Отец остановился и, не глядя на меня, жестко сказал: «Этот старик добр и одинок, сын. Научись слушать людей — человеку немного надо, чуточку сочувствия и внимания, ясно? Одиночество развязывает язык, это правда, но одиноким может остаться каждый, понял? Так вот и заруби себе на носу». Стояли мы друг против друга, я кусал губы, чтобы не расплакаться (не по-мужски вроде) от обиды и понимания, а отец безо всякого вдруг перехода погладил меня по голове, будто поправляя вихор, но, на самом деле, подбадривая и успокаивая. Я запомнил.

Мы шли по улице с плотно лепившимися друг к другу всевозможными мастерскими: часовыми, шапочными, портняжными, ремонтными, сапожными. Отец зашел к часовщику, я — за ним. Крошечная комнатка вся была увешана часами круглыми и квадратными, с всякими покачивающимися маятниками и с подрагивающими на цепочках гирьками; часы тикали, хрипели, что-то в них перекатывалось, трепыхалось. Из домика вдруг выскочила кукушка, пять раз прокуковала, поперхнулась и, дергаясь, исчезла за крошечной дверцей, забасили, залились, зашлись в бое часы, часики, часища. Я смотрел на этот шумный и многоголосый парад — за гипнотизированный и зачарованный. Из-за стеклянной конторки показался нелепый человек в жилетке. На голове посреди матовой лысины одиноко и вызывающе торчал хохолок, на месте левого глаза пролегал узкая прорезь, упиравшаяся прямо в переносицу, отчего лицо было вопрошающе-напряженным. Зато правый глаз был кругл и так широко распахнут, что виднелся весь белок целиком, с черным островком радужки. Руки часовщика тряслись безостановочно, мелкой дрожью. Дрожь эта передавалась всем предметам вокруг, и казалось, что даже столик со стеклянным верхом, усеянный щипчиками, отверточками, часовыми механизмами и крошечными детальками, так и ходит ходуном. Отец поздоровался с часовщиком за руку, и ему тоже передалась эта неумная дрожь. «Что привело вас ко мне, любезный? Давненько я вас не видывал», — церемонно обратился часовщик к отцу, и в горле у него забулькало так, словно вот-вот выскочит кукушка. «Да вот что-то трофейные мои забарахлили, то вперед убегают, то еле ноги волочат», — в тон ему ответил отец. «Дайте взглянуть». Отец снял часы, обнажив истонченное от непрерывной носки часов запястье, и передал их в трясущиеся руки часовщика. Я цепился в отцовский рукав и весь напрягся, готовясь подхватить часы, которые, казалось мне, вот-вот вырвутся из вздрагивающих пальцев. Но тут случилось неожиданное: руки часовщика успокоились. Он ловко вставил в свой единственный глаз луцу, а его умиротворенные руки во мгновение ока отколупнули крышку часов. Я, забыв обо всем на свете, ошалело уставился на тонкие, проворные пальцы, которые легко и

споро выпотрошили механизм с беспокойными колесиками. Я ждал, что руки затрясутся снова, но все было в порядке. Отец невозмутимо ждал, а я никак не мог успокоиться, настолько поразило меня происходящее. Часовщик встал, положив ладонь на стол и протянул отцу часы. «Этим часам сносу нет, механизм чуть запылился, прочистить надо в год раз». — «Спасибо». — «Заглядывайте почаще, просто так». Отец пожал вновь задержавшуюся руку, и дрожь перебежала в его тело. Часовщик погладил меня по голове — я ощутил на волосах его прыгающие пальцы. Мы вышли на улицу, и вслед нам раздался тоскливый выкрик кукушки.

«Часовщик наш был на войне сапером, — рассказывал отец, — прошел всю войну без царапинки, и надо же так случиться, только-только кончилась война, подорвался на mine, когда расчищал поля для посевов. Руки, ноги целы остались, только глаз вытек, да контузило — сотрясается человек. Вернулся домой, что делать? А часовщик он был, каких поискать. Да куда там, не то что с часами возиться — дверь открыть и то трудно. Но вот чудо. Стоит ему взять инструмент в руки — тика как не бывало. Положит инструмент, — снова трясет его как в лихорадке. Так вот и живет, день и ночь в мастерской, только часы подавай. Мы-то, старые его клиенты, все знаем, а вот каково новому человеку часы ему отдать?». Я слушал отца, разинув рот, жалел, удивлялся, радовался. Тут же решил рассказать обо всем друзьям и соседям, чтобы никогда у часовщика работы не переводилось.

А мы все шли, и казалось, нет конца нашему долгому пути. Вот из-за поворота свергнуло лезвие Куры, и тяжелая крепость над ней заполнила все небо. Пришли. Мы вступили в темное сводчатое помещение, едва освещенное одинокой пыльной лампочкой. Вниз вела широкая каменная лестница, упившаяся в небольшую деревянную дверь, из-за которой, стояло лишь приоткрыть ее, вываливался влажный пар, остро пахнущий серой. Слева и справа над лестницей нависали две узкие площадки с длинными скамейками. На них сидели мужчины, ожидая своей очереди. Мы примостились на краешке одной из скамеек и набрались терпения. Мужчины неторопливо переговаривались, отец вскоре к ним присоединился. Я ерзал на скамейке, не зная, чем себя занять. Тут ко мне подошел мальчик одних со мной лет и поманил к себе. Я подошел. Он показал два кулачка и сказал: «Угадай, в каком орешек». Я, как заправский игрок, пощупал кулаки, потом по очереди приложил их к своему уху и наконец решил: «В этом». Он быстро раскрыл ладошку — в ней ничего не было. Сразу же, чтобы без обмана, он раскрыл и вторую ладонь. Орешек был на месте. Игра пошла полным ходом. Орешек переходил из рук в руки. Вскоре к нам присоединились еще два мальчика, и мы стали играть пара на пару. Время пролетело незаметно, а вот уже и отец зовет меня — подошел наш черед, — и мы спустились вниз по лестнице. В душном предбаннике тесно жались друг к дружке шкафчики для одежды, а на узких лавках перед ними сидели одевающиеся и раздевающиеся. То и дело распаивалась большая дверь, ведущая в банный зал и оттуда выходили голые распаренные мужчи-

ны. Банщик был тут как тут и ловко набрасывал на каждого громадную простыню, прихлопывая ее ладонью на спине. Отдельный шкафчик для меня, увы, не оказалось, и я, расстроенный, повесил свою одежду вместе с отцовской. Отец подошел к большому чану, долго искал в нем что-то и наконец извлек две пары деревянных шлепанцев с черной перепонкой. Даже самые маленькие шлепанцы были мне велики, и я, оглушительно хлопая и поминутно поправляя сползающие с ног деревяшки, заковылял за отцом. Банный зал был так огромен и темен, столько в нем было народу, что я сначала ничего не разглядел. К тому же я едва не задохся в густых и едких испарениях. Отец вел меня за руку, иначе я просто не знал бы, что тут делать.

Вскоре из густого тумана стали прорезаться люди и предметы. Прямо над моей головой висел неровный лоскут неба, перетянутый гранями стеклянного купола. Уже стало смеркаться, и лоскут был фиолетовый. Куда ни глянь, всюду хлестала вода. Люди обливались из шаяк, подставляли себя под струи, вырывавшиеся прямо из стен. Но вот я увидел бассейн, большой квадратный бассейн, из которого торчали всклокоченные головы с закрытыми глазами. Я рванулся к нему, оставив на горячем каменном полу свои шлепанцы, но отец успел меня перехватить. «Иди сначала под кран, обмойся, в бассейне чистые люди, а ты прямо с улицы, так нельзя». Я старательно мылся под обжигающей водой, решив стерпеть все. Но вот я уже бултыхаюсь в бассейне и едва не воплю от жара, обдавшего все мое тело. В бассейне, оказывается, горячая вода, чуть ли не кипятки. Я тут же наступил на чью-то ногу, и едва удержался, чтобы не упасть. Вдруг кто-то вцепился мне в руку и с силой потянул под воду. «А ну, нырни, новенький». Я чуть не захлебнулся в вонючей сере. Рядом стоял большой мальчик, стремившийся снова с головой затолкать меня под воду. Я вырвался. «Давай научу плавать, хочешь?» — «И без тебя умею, отстань». Я, конечно же, не умел, но ни за что бы в этом не признался, особенно этому дылде. Я налег грудью на пощипывающую, но уже не такую горячую воду и замахал руками. Никуда я не поплыл, только брызги взлетели фонтаном. «Ха-ха-ха», заливался дылда. Я ужасно разозлился и наверняка полез бы драться, если бы не люди вокруг. Вскоре я освоился и, медленно перебирая ногами, пошел по каменному дну в воде по самое горло. Отца не было видно. Вскоре он подошел к бортику и позвал меня. Я вылез из бассейна: сразу стало прохладно, хотя все вокруг исходило жаркий и влажный дух. Отец подвел меня к худому высокому мужчине с мокрой полотняной повязкой вокруг бедер. У него было очень сухое, костистое лицо с маленькими красными глазками, на груди виднелся синий орел и что-то — не разобрать — было написано. Мужчина неожиданно ухватил меня за плечо и чуть ли не кинул на каменный топчан, на который отец выплеснул дымящуюся воду. Мне не было больно, но меня потрясла бесцеремонность мужчины, потрясла и разозлила. Я попытался встать с топчана, но две крепкие руки принялись вдруг хлопать меня по спине. Потом в тело впилась шершавая и скользкая мочалка. Я закусил губу и поверх каменной по-

душки, в которую упирались мои дрожащие ладони, жалобно посмотрел на отца. «Потерпи, потерпи чуток, мекисе это». Мне чудилось, что с меня сдирают кожу. Невидимая рука только перевернула меня на спину, и перед глазами замельгало багровое птичье лицо с красными глазками. Потом та же рука посадила меня на топчан и вдруг на мою голову обрушилась целая гора мыльной пены. Я даже глаз закрыть не успел. Пена лезла в рот, в ноздри, глаза пощипывало. Но тут меня с головой окатили водой, и пены как не бывало. Все тело горело и ныло, но какая-то необычайная легкость вдруг охватила меня. «Молодец. Яхши. Настоящим мужчиной будешь». Мекисе улыбался, обнажив мелкие желтые зубы. Отец похлопал меня по плечу и сказал: «С легким паром, сын. Вот ты уже у меня и мужчина». Я был горд и счастлив. Мир взрослых стал моим миром, близким, достигаемым, только протяни руку. Вот, значит, как оно бывает. «А сейчас умойся под этим краном», — отец подвел меня к львиной пасти, из которой текла тоненькая струйка воды. Я поставил ладони и едва подавил крик. Ледяная вода остудила разгоряченное лицо, руки. «Все. Можем идти». Мне хотелось в бассейн еще, но, видно, придется отложить до следующего раза. Теперь я, как настоящий взрослый, всегда буду ходить сюда, ведь я уже свой человек здесь. Даже шлепанцы были мне уже впору. Я шел за отцом выпрямившись, стараясь не хлопать деревяшками. У выхода в предбанник банщик накинул простыню на отца, прихлопнув ее на спине. Я ждал своей очереди, но простыни в руках банщика не было. Я почувствовал себя обкраденным. Отец что-то шепнул банщику, тот подмигнул ему, и откуда ни возьмись, в руках у него захлопала простыня. Он накинул ее на меня, и я весь утонул в необъятном просторе прохладного полотна. Банщик прихлопнул простыню на спине, и я, путаясь и придерживая руками обвисающие до самого пола края, с достоинством направился к шкафчику.

Когда мы вышли на улицу, совсем уже стемнело. Зажглись фонари, и было так хорошо и уютно на маленькой улочке, что мне не хотелось уходить. Мы шли к троллейбусу медленно, вдыхая вечернюю прохладу. Тело стало невесомым, как будто за плечами у меня выросли крылья. Невидимая Куря глухо ворочалась под крепостью. Подошел троллейбус...

...Мои спутники зажмурились, когда из полумрака бани мы вступили в слепящий белый полдень. «Очень интересно, очень», — сказал бородач. — Все так необычно и ново». «Жаль, завтра уезжать, непременно сходили бы еще», — подхватил второй. Я молча глядел вверх — на булыжный крутой подъем к Ботаническому саду. Вниз неторопливо спускался мужчина, рядом с ним шагал мальчик в белой кепочке, с чемоданчиком в оттопыренной руке.

Гурам ГВЕРДЦИТЕЛИ

НЕОДОЛИМОСТЬ ЛЮБВИ

||| **Размышления о книге рассказов
Георгия Цицишвили «Любовь поры
кровавых дождей».**

СОЗНАНИЕ того, что эти поэтические строки написаны Ольгой Берггольц в далекий зловещий сентябрь 1941 года в бомбоубежище осажденного Ленинграда, придает им особую силу и звучание, озаряет иным светом.

Я никогда с такою силой,
Как в эту осень, не жила.
Я никогда такой красивой,
Такой влюбленной не была.

В городе, разрушенном вражескими бомбами, оторванном от «Большой земли», то есть от собственной страны, говорить во весь голос о красоте и любви или даже безмолвно нести в себе это чувство, безусловно, покажется невероятным тому, кто не прошел через этот ад. Но книги о войне, документальные и художественные, написанные ее очевидцами и участниками, убеждают, что ни любовь, ни красота жизни не только не утратили тогда своего смысла и величия, а с еще большей силой заставляли биться людские сердца. Пожалуй, эти «ат-

рибуты» сугубо мирного времени в ту грозную пору проявлялись куда более обнаженно и отчетливо.

В тяжкую годину, на рубеже жизни и смерти, из глубины кровавых дождей человеческие чувства не только не затупляются, но находят свое истинное, глубокое выражение. В этом нас еще раз и, что самое главное, с эмоциональной силой и художественной достоверностью убеждают новеллы Георгия Цицишвили, составившие сборник «Любовь поры кровавых дождей» (издательство «Сабчота Сакартвело», 1975 год).

В городе, дышащем смертью, каждое слово поэта, рвущееся наружу из бомбоубежищ, могло быть продиктовано только самыми искренними чувствами. И проявившиеся в то время мужество, бодрость духа, жажда жизни, обостренная потребность красоты и любви могли быть принадлежностью только героического характера. Вместе с поэтессой, плечом к плечу с мужчинами и наравне с ними осажденный Ленинград защищали тысячи, десятки тысяч женщин-ленинградок и прибывших на помощь из всех уголков нашей необъятной страны. Сколько из них погибло! Именно им и посвящена книга Г. Цицишвили: «Посвящаю женщинам — участницам Великой Отечественной войны, чей высокий дух и пламенный патриотизм горят негасимым костром в памяти человечества как бессмертный образец сказочного самопожертвования и беспрецедентной верности».

Этими словами автор вводит нас в мир своей книги. Но благородный его замысел проявляется не только в посвящении. Им проникнуты с начала и до конца все новеллы и рассказы, вошедшие в сборник. Художественные произведения о годах Великой Отечественной войны — это поистине зажженный советской литературой негасимый факел во славу безымянных героев. Книга Георгия Цицишвили органически примыкает к ряду именно таких произведений.

О героических днях блокады Ленинграда, о непоколебимом духе и выдержке советских солдат и населения города на Неве (если только можно было отделить их друг от друга — ведь все они были бойцами) рассказано в стихах Ольги Берггольц, относящихся к первым дням войны, в ее поэмах и прозаических, хотя и проникновенно лирических, произведениях, написанных значительно позднее («Дневные звезды»). Об этом написано бесчисленное множество произведений. И от радно, что к этому необъятному списку добавилась книга участника боев за Ленинград, нашего соотечественника, грузинского писателя, основанная на материалах той героической эпопеи, вдохновленная и вызванная ею к жизни.

И, что самое главное, книга эта не просто приумножает ряд прозаических произведений об обороне Ленинграда, созданных русской или же вообще многонациональной советской литературой. Можно с уверенностью сказать, она обогащает ее. Во-первых, хотя бы тем, что фронтовая жизнь севера нашей страны наблюдалась человеком с юга, из Грузии, и это тоже определило своеобразную новизну художественного видения. С точки зрения жанра и стиля, эта книга остро современна и тем особенно значительна. Ее художественные досто-

инства и сила эмоционального воздействия с самого же начала — с первого рассказа — очевидны и бесспорны.

Новое слово в военной тематике сказано все же тем поколением, которое непосредственно испытало всю тяжесть боев с германским фашизмом и которое вместе с опытом и знанием привнесло в литературу собственное эмоциональное ощущение пережитого, обнажив незарубцевавшиеся и незалеченные раны, неутихающая боль которых не дает о нем забыть. Это поколение непременно должно высказаться до конца.

Началом нового этапа в художественном изображении войны и ее осмысления — философского, психологического, нравственного или с какой-либо иной точки зрения — в русской критике принято считать 1957 — 1959 годы, а одним из произведений, проложивших эту борозду, — классический рассказ М. Шолохова «Судьба человека». Подобную «периодизацию» литературы о войне принято распространять на всю многонациональную советскую литературу, и, в частности, на грузинскую.

Отдельными критиками справедливо отмечалось, что с этого времени литература больше внимания уделяет нравственному облику героя, его внутреннему миру, взаимоотношениям с окружающей средой и большей частью раскрывает военные события именно под этим углом зрения. Я прошу принять во внимание эту оговорку «**большой частью**», поскольку не хочу быть неточным. Я не пытаюсь никого уверить в том, что другие аспекты то ли вовсе выпали из поля зрения советской литературы, то ли в значительной мере затупшеваны. На протяжении последних десяти-пятнадцати лет действительно в опромочном количестве написаны обширные эпические полотна об Отечественной войне и в этом множестве — необычайное многообразие поставленных проблем. И это очень отраднo! Взять хотя бы последние романы Константина Симонова «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются», «Последняя весна». В этих произведениях писатель задался целью художественно осмыслить стратегию Великой Отечественной войны. И хотя в соответствии с сегодняшним осмыслением его герои на фоне этого замысла выглядят поразительно «человечными», основную новизну и значение этих произведений определяет все же то, что здесь необычайно широко представлены военные действия, со всей ясностью вычерчены все переплетения судеб народа и личности, масштабно показано героическое значение этой войны.

И все же в современной литературе сильна тенденция дать почувствовать читателю закономерности исторических событий большого масштаба путем глубокого исследования частной судьбы, отдельной личности, ее нравственного облика. Эта тенденция во всем многообразии своих проявлений характерна для всей советской литературы вообще. И грузинская проза в этом отношении выглядит довольно сильной и значительной. Книга новелл Георгия Цицишвили в этом смысле интересна и показательна.

Художник может идти самыми разнообразными путями в нравственном поиске, и это определяет различные пласты, различные аспекты его восприятия и показа действительности.

Поэтому заявление о том, что писатель углубляется в этические проблемы или исследует моральный облик героя, носит лишь общий характер, ни о чем существенном не говорит. Например, все творчество В. Быкова, преисполненное именно этих нравственных исканий, в основном связано с войной. Но особый угол зрения писателя в одинаковой мере направлен и на осмысление проблемы «преступления и наказания», и проблемы личности и общества в целом.

Он предлагает читателям решение крайне заостренных и наболевших вопросов в связи с совершенно особыми, нетипичными, как вообще отмечено, «парадоксальными» ситуациями, и его анализ или выводы беспощадны и бескомпромиссны. Наряду с этим он часто обращается к сложной символике; легенды и мифы органически вплетены в сюжетную структуру его и без того с избытком насыщенных повестей и романов, придавая им особое трагическое звучание.

Многообразие путей активных нравственных поисков в советской литературе поистине неисчерпаемо. Какие-либо общие признаки не могут служить принципом для классификации писателей или произведений на отдельные группы, но если пойти по этому пути, то, видимо, придется признать, что Г. Цицишвили склоняется в своем творчестве к поэтическому восприятию, к лиризму, граничащему с сентиментальностью, если только можно провести между ними демаркационную линию. Концентрируя свое внимание на событии, с первого взгляда несущественном и незначительном, писатель раскрывает большие, всеобъемлющие человеческие чувства и страсти.

Герои Георгия Цицишвили большей частью люди незаметные, тихие, замкнутые, будто бы изолирующиеся от большого мира и, если можно так выразиться, — это как бы герои небольшого калибра, но всем им присуще благородство в самом высоком смысле, способность пронести через всю жизнь великую любовь. Для Г. Цицишвили более органическим является спокойное, грустное, лирическое повествование о великих испытаниях, выпавших на долю благородных людей в этой нечеловечной войне, об их духовной непоколебимости, о способности и внутренней потребности сеять любовь — даже там, где царил смерть. И в этом как будто возникает переключка с русскими коллегами — ленинградскими писателями и их произведениями, написанными о блокаде. Я имею в виду В. Панову, О. Берггольц, И. Герасимова. Теперь и Г. Цицишвили наряду с этими и многими другими литераторами внес свою лепту в создание «единого поэтического образа ленинградцев» времен блокады.

Свой прозаический цикл о Великой Отечественной войне Константин Лордкипанидзе назвал «Правдивые рассказы», вынеся прямо в заголовок ту общую черту, которая должна была придать большую достоверность и убедительность его художественному произведению. Вообще документальная художественная проза, которая нашла в советской литературе такое заметное жанровое и стилистическое воплощение, берет начало в литературе, созданной на тему Великой Отечественной войны. Правдивость, документальная достоверность ста-

ла особо, подчеркнуто необходимой, поскольку твердость духа и богатство души советских людей, их нравственная чистота и сила, так же как и проявившееся в отдельных случаях нравственное падение, — все это на трагическом фоне войны могло показаться чем-то необычным, даже нереальным. Этот пафос правды, являющийся неотъемлемым признаком реалистической литературы, еще сильнее звучит в литературе о войне и особенно в произведениях, авторы которых принадлежат к поколению, принимавшему в ней непосредственное участие.

Георгий Цицишвили с особой силой убеждает нас в правдивости того, что он рассказывает. В своем предисловии он знакомит нас со своим фронтовым другом Георгием Хведурели, рассказывает об их взаимоотношениях, делится такими деталями его биографии, которые поначалу даже кажутся излишними для художественного повествования. Но этим с первых же страниц писатель создает иллюзию реальности, которую мы ощущаем уже при чтении предисловия, и незапойливо, мастерски, как теперь принято говорить, утверждает «свой стиль игры».

В своих записях Хведурели отмечает: «С точки зрения правды, для меня как для участника войны фото военных лет значит куда больше, чем прекрасное живописное полотно художника, не видевшего войну». Нет нужды затевать теоретический спор, поскольку совершенно ясно, во имя чего сделано это заявление, и что главным критерием и сутью подобного рода произведений может быть только принцип правдивости. Сам автор еще более осторожно, без каких-либо аналогий замечает там же, в предисловии: «Возможно, описанное в дневнике серьезное событие некоторые сочтут смешным, а смешное — неуместной серьезностью. Но ни о том, ни о другом нельзя сказать — «это неправда». Поэтому я и решил представить на суд читателя эти записи».

Вот так подчеркнуто, настоятельно с первых же строк Г. Цицишвили убеждает нас в большой правдивости своей книги и на протяжении всего повествования старается нигде и ничем не подать повода усомниться в этом. Поскольку рассказ ведется от лица Хведурели и в нем нет никаких литературных притязаний, автор стремится сохранить всю непосредственность стиля «непрофессионала» в литературе и этим утверждает свой собственный профессионализм. Шероховатые фразы, наивность суждений, нарочитая растянутость — все это так точно взвешено, так исподволь направлено, что, читая книгу, мы видим и слышим только Хведурели, совершенно забывая о том, что за ним стоит писатель, который сумел до конца так тонко сохранить в нас созданную с самого начала иллюзию действительности.

В предисловии им создан живой и привлекательный портрет Георгия Хведурели, и потому такой болью отзывается в нас нелепая трагическая гибель уже в мирное время этого человека, прошедшего сквозь горнило войны. Случайной смертью своего героя автор, думается, говорит значительно больше, чем может показаться. Дело здесь не только в роковой судьбе. Дочитав книгу до конца, мы убеждаемся, что по

труднейшим дорогам войны человека вела любовь во всем величии своей силы, глубины и нежности. Поэтому смерть его в мирном 1946 году, происшедшая фактически из-за людского равнодушия, душевной черствости, бессердечия, производит впечатление потрясения от сознания гибели человека, более чем кто-либо иной достойного жизни, потому что он и подобные ему невероятной ценой спасли жизнь всем. Вряд ли смерть Хведурели понадобилась писателю для того, чтобы получить возможность опубликовать его дневники; так же неоправданно видеть в этом лишь художественный прием, к стати, достаточно распространенный и привычный. Трагический смысл ее сохраняется в нашем сознании и сопутствует нашим мыслям еще долго после прочтения книги.

Вошедшие в нее новеллы «Дольше всего живет надежда», «И к тебе придет пора раскаяния», «Пальма на севере», «Сентиментальное приключение», «История преображения», «Пирушка в складчину или смешные мужчины» (она представляет собой целый цикл новелл), возможно, отвечают или же не отвечают самым различным читательским вкусам, или индивидуальным пристрастиям, соответствующим настроениям. Но я думаю, что ни у одной из новелл нельзя отнять тех подлинных литературных достоинств, которые заряжают читателя эмоционально и заставляют читать эти произведения взволнованно и пристрастно. Казалось бы, во внешне довольно однообразной, хотя и крайне напряженной, обстановке фронтовых будней невозможно обнаружить клокотание стольких человеческих страстей, но большая правда пережитого вызывает наше искреннее и глубокое сочувствие. А скромное заявление писателя о том, что кое-кому описанные здесь серьезные события могут показаться смешными, или его искреннее сомнение в полном понимании его замысла, к счастью, не оправдываются.

Иллюзия реальности, которую с самого же начала так преднамеренно создает автор, постепенно полностью овладевает читателем. В грузинской литературе не часто встречаются произведения, где фронтовая жизнь была бы изображена с таким точным знанием ее примет. Причем все это проявляется как бы исподволь, нигде не обнаруживается подчеркнутость или намеренная демонстрация свидетельствующих об этом деталей. Просто в памяти писателя, в его душе так глубоко запечатлелось все виденное и пережитое в годы войны, что, возможно, он и сам еще до конца не осознал, какое богатое накопление материала предоставил читателю, с какой щедростью его память воссоздает события времени, ставшего уже достоянием истории, но которое для автора навсегда осталось живым образом, а теперь уже и нами воспринимается как собственное наше переживание.

На первый взгляд, даже такая замечательная новелла, как «Дольше всего живет надежда», кажется порядком растянутой, потому что кульминационное событие начинает развиваться в ней после долгих подступов к нему. Однако в этой «растянутой экспозиции» столько живых штрихов фронтовой жизни, тонких психологических наблюдений, такое проникно-

венное сочувствие к бойцам, к артистам, прибывшим к ним на передовую с концертом, что невозможно исключить все это из впечатления, складывающегося от новеллы в целом.

Что касается главного сюжетного события этой новеллы — истории трагической любви Хведурели, то и здесь во всей полноте обнажен ужас войны. И хотя в новелле в деталях описан быт ленинградской блокады, все же образ Лиды Кавериной — возлюбленной Хведурели — вызывает в нас наиболее острые и сильные переживания. После мучительных препятствий и трудностей, ценой огромной самоотверженности герой находит Лиду, но не узнает ее — так состарили, изменили и сломили ее, красивую молодую женщину, голод и муки. Чувство беспредельной грусти охватывает при мысли о бесчисленном множестве благородных людей, погибших в Ленинграде, о молодых, состарившихся в войну, не успевших испытать радости любви, потерявших даже то, что живет дольше всего, — надежду.

В книге Георгия Цицишвили много таких трагических героев, переживающих разрушенную смертью любовь. Различны только ситуации, а сила трагизма везде одинаково велика.

В ужасающе тяжелых условиях две девушки — два бойца — озаряют светом своей доброты и тепла жизнь экипажа бронепоезда. Но внезапное героическое самопожертвование одной из них — Марины Нелидовой — вновь тяжелой глыбой опускается на сердце читателя, ненадолго отошедшего от переживаний ужасов войны. Тем более что ни мы, ни один из членов экипажа бронепоезда, даже чуткий и добрейший по природе своей, но замкнутый и хмурый от забот капитан Балашов до заключительной фразы новеллы не имели представления о том, что в этой молодой женщине жила огромная и невысказанная любовь к своему командиру. Марина — такая же жертва этой страшной войны, еще один художественный образ, возвеличивающий тех, кто отдал Родине, другу, соратнику — безвестным, но близким людям свое горячее любовью сердце. Военврач капитан Дмитриев из новеллы «Сентиментальное приключение» — человек такой же светлой души, мужественного характера и такой же трагической судьбы.

В книге немало героев, чья судьба заставляет вновь глубоко пережить стоически перенесенное советскими людьми великое испытание войны.

В те тяжкие дни, когда на каждом шагу смерть подстерегала и без разбора косила людей, с особой силой прорывалась жажда жизни, вера в завтрашний день, непринужденность живого и искрометного чувства юмора. И герои Г. Цицишвили, несмотря на всю сложность фронтовых условий, будто излучают юмор, хотя это подаренное на мгновение жизнерадостное настроение всегда возникает на фоне драматических или даже трагических обстоятельств. Так и в «Сентиментальном приключении». Когда погибает преисполненный жажды жизни и юмора капитан Дмитриев, его боевые

соратники с высохшими от горя глазами продолжают протыкать его шутки, которые для них стали уже необходимы. И именно в этом вся сила эмоционального воздействия рассказа, через это раскрываются скупые детали мужской фронтовой дружбы, их взаимовыручка, любовь, самопожертвование во имя друга, великая человеческая верность и преданность.

Цикл новелл «Пирушка в складчину или смешные мужичины» насквозь проникнут юмором, через который особенно остро ощущается весь драматизм военного времени, когда до конца познаешь цену веселого мгновенья. Любовные заключения капитана Яблочкина, сменившего уже пять жен, продолжают и на фронте, но его настойчивые ухаживания за заведующей гарнизонной баней постепенно принимают серьезный оборот, его привязанность наполняется нежностью, приобретает лирическую окраску. Ломается его привычное отношение к женщинам, по-иному воспринимаются и свойства женского характера, и их природа. Финал рассказа трагичен и своей неожиданностью, и обыденностью. Только после гибели любимой женщины узнает Яблочкин, что она — разведчица Марина Донцова, для которой баня была лишь временным прикрытием ее секретной деятельности. Юмором и драматизмом в одинаковой мере насыщены и другие новеллы этого цикла, хотя «Директор фабрики — Ирина Дроздова» и «Ната Дерюгина из хозяйства Лысинова» имеют благополучный конец.

Женщины во всех новеллах Георгия Цицишвили, несмотря на тяжелые переживания, выпавшие на их долю, мужественно и до конца сохраняют чувство долга, душевную чистоту, внутреннее равновесие, они преисполнены большой и искренней любви. Лишь в одной новелле «Жена стрелочника Рита» мы встречаемся с ситуацией, когда тяжкий фронтовой быт не скрашен духовной цельностью героини. Но и в этой новелле, хотя она отлична от других, автор предлагает интересные психологические наблюдения и очень точно раскрывает душевные переживания молодой женщины. Даже ее измена мужу имеет свои первопричины и человеческое объяснение, хотя это только усугубляет ее и без того безрадостную жизнь, еще более берedit душу.

И все же эта новелла как бы «выпадает» из общего строя книги, и этим некоторым образом удивляет читателя, уже привыкшего к тому, что наблюдательный глаз писателя нацелен только на светлые и чистые стороны внутренне уравновешенного мира, где с неожиданным можно встретиться только в той или иной ситуации, в различных формах проявления характера, но только не в нарушении нравственных норм. Даже в такой во всех смыслах глубокой, значительной и заманчивой для художественного раскрытия характеров новелле, как «Дольше всего живет надежда», когда у автора может быть тысяча решений выхода из испытаний, через которые он проведет своих героев, писатель избирает не самый тернистый путь. Гибелью Лиды Кавериной он будто торопится поставить точку, чтобы не подвергать их любовь новым ис-

пытаниям. Но такое решение возникает у писателя вовсе не потому, что он пытается избежать трудностей. Просто он не стремится обнажать в душах героев тугое переплетение белых и черных тонов, где трудно предугадать, какой из них окажется более сильным. Главная задача, которую он ставит перед собой, — показать сполна красоту человеческой природы и бесконечно чистую любовь. Поэтому при знакомстве с женой стрелочника Ритой остается впечатление нарушенной внутренней гармоничности, сложившейся от восприятия всего ряда женских образов книги, хотя с точки зрения художественного мастерства этот характер не менее глубок и интересен.

В «Пальме на севере» и «Истории преобразования» тема любви, которая превалирует в новеллах Г. Цицишвили, отодвинута на второй план и в центр внимания поставлены иные проблемы фронтовой жизни. В них повествуется о том, как обнажаются души людей, находившихся на волосок от смерти, как срываются маски, которые в условиях мирной жизни как бы слились с привычной ролью их хозяина, были неизменной его принадлежностью. Здесь речь идет о цене коварства и предательства, потому что именно на фронте проходят проверку способность к дружбе, к элементарной человеческой поддержке, стойкости.

«Пальма на севере» еще более значительна своим философским осмыслением сложной проблемы взаимоотношений искусственного и естественного. Человеческие чувства и страсти со всей полнотой и напряженностью проявляются и обнажаются именно в период суровых потрясений, каким в данном случае была Великая Отечественная война, в то же время условия фронтовой жизни со всей своей жестокой реальностью потребовали от людей отречения от личного счастья, подавления в себе чувств. Это противоречие часто проявляется в более трагических ситуациях, чем та, которая описана в данной новелле. Достаточно для сравнения вспомнить новеллу «И к тебе придет пора раскаяния», где мучительные страдания командира бронепоезда сопряжены именно с этим противоречием. Его приказы часто противоречат желаниям его доброго и любящего сердца, его человеческим чувствам, но это продиктовано величайшим чувством долга, которому он никогда не изменит, и в этом — острота и напряженность трагического конфликта. Но когда существующие противоречия обостряются преднамеренно, искусственно, в силу духовной ограниченности, а не по необходимости, как в «Пальме на севере», то это уже волею или неволею воспринимается как преступление. Победа достигается не только за счет военной стратегии, дисциплины и порядка, а еще и благодаря высоким нравственным качествам тех, кто идет в бой.

«Лежачий камень обрастает мохом, но кто на фронте даст тебе обомшеть! Сознание того, что за тобой — вся страна, которую надо защитить ценой крови, прибавляет силы и удесятерит возможности. Рядом друзья, и что бы ни случилось, как бы тяжело ни было, они не предадут тебя — вот это и есть фронт!» — говорит один из героев книги.

Именно в этом единстве чувства долга и человеческой любви — сила и красота фронтальной жизни. И книга Георгия Цицишвили «Любовь поры кровавых дождей» — жественное утверждение этой большой правды.

Мне не хотелось бы прибегать к традиционной, ставшей уже стереотипом фразе, завершающей критический анализ произведения, о том, что в книге встречаются отдельные недостатки и пробелы, но нет необходимости специально на них останавливаться в силу тех или иных причин. Подобная мысль напрашивается и сейчас, но в данном случае гораздо обиднее, что я не занялся тщательным разбором всех ее достоинств. Поскольку же сам писатель заверил нас в том, что дольше всего живет надежда, я верю, что сборник его новелл получит достойную оценку в работах других критиков, да и сам я думаю вернуться к более подробному анализу этой интересной книги.

НЕДАВНО издательство «Мерани» выпустило в переводе на грузинский язык сборник рассказов известного абхазского писателя Алексея Гогуа «Вот здесь вот, за семью камнями». Незадолго до ее выхода Совет по абхазской литературе Союза писателей Грузии провел

обсуждение рукописи этой книги. Ниже мы предлагаем вниманию читателей сокращенный вариант выступления на этом обсуждении грузинского писателя Гурама Дочанашвили, посвященное рассказам его абхазского коллеги, вошедшим в названный выше сборник.

Гурам ДОЧАНАШВИЛИ

СВЕЧЕНИЕ ДОБРА

ПРОЧИТАВ рассказы известного абхазского писателя Алексея Гогуа, я еще раз испытал воздействие большого блага, которое зовется хорошей литературой. Благодаря археологическим экспедициям я имел счастье обойти Абхазию — этот великолепный край. Помимо известных городов и прибрежных курортов месяцами жил в Амткеле и высокогорной Каде, в Окуми и Гумурише, поднимался на Яшхтва и Бирцх, исколесил все Взыбское ущелье. Но только после прочтения рассказов Алексея Гогуа у меня возникло ощущение, что я хорошо познакомился с Абхазией. Это еще раз подтвердило мысль, что порою литература может даже лучше, чем непосредственное наблюдение, помочь постижению природы и особенно человека. Так, например, я видел в Абхазии много видов рыб, даже той породы, которая описана в рассказе А. Гогуа «Вот здесь вот, за семью камнями», но такой прекрас-

ной, как в этом произведении, не встречал нигде, поскольку благодаря таланту писателя в нас возвращен великий и богатейший дар, именуемый фантазией.

Манера письма Алексея Гогуа — прозрачная и ясная. Особое очарование ей придают не только точно выписанные рукою мастера и с какой-то трепетной нежностью обласканные его детали, но и проявление непосредственной, естественной нежности, когда повествование касается людей высокого духа. А поскольку писатель должен одинаково сильно уметь и любить и ненавидеть, А. Гогуа выводит в своих произведениях и таких действующих лиц, которых ненавидит, к которым испытывает брезгливое чувство. Не будь этого, в его рассказах не возникали бы острые конфликты между добром и злом, красотой и фальшью.

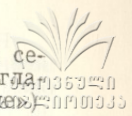
Пишет он в основном просто и ясно. Но это не та простота, которая свидетельствует о бедности художественных возможностей и средств: достигнутая в результате напряженных поисков, нередко она соседствует, органично сливаясь, с предложениями обостренными, несущими довольно сложную смысловую нагрузку. Однако вы не встретите здесь ни одной детали, с помощью которой автор пытался бы искусственно создать подтекст. Он возникает в рассказах А. Гогуа естественно и непринужденно. А это я считаю большим достоинством писателя. И еще: все у него убедительно, все люди живые и мы видим их ясно. И это та убедительность, которая достигается только с помощью подлинно художественных находок.

* * *

Сначала остановлюсь на рассказе «Белый, сверкающий ягненок». Его эмоциональную остроту обусловили два обстоятельства. Прежде всего все в нем увидено глазами тринадцатилетнего мальчика, а это, как известно, возраст, когда и прекрасные, и безжалостные уроки жизни воспринимаются абсолютно непосредственно. С другой стороны, действие здесь разворачивается во время войны, когда деревня подавлена грустью по ушедшим на фронт.

Со всей очевидностью ощущается там отсутствие мужской руки. Женщин и детей придавил груз, который раньше нес на себе мужчина. Почти все голодают, всем трудно. И вот в этой деревне живет один удивительно ленивый, «никчемный» мальчик, который ходит без дела. Казалось бы, это должно настроить нас к нему неблагоприятно. Но этот мальчик странным образом симпатичен. Привлекательность его вызвана тем, что он наделен способностью к восприятию природы, умением мечтать. Если бы его леность продолжалась до конца рассказа, мальчик потерял бы в наших глазах свое очарование. Автор это тоже хорошо понимает и потому с такой художественной убедительностью показывает раннее возмужание мальчика, превращение его в мужчину-труженика.

— Мать и сын придавлены неизмеримой печалью — целый год как они не получают писем с фронта. Эта красивая жен-



щина («И все же мать оставалась красивейшей женщиной села. И сейчас еще здесь говорили: у того, кто заглянет ей в глаза, голова закружится — такие они бездонные, глубокие»). Она работает от зари до зари и, несмотря на настойчивые попреки соседей, не особенно заставляет сына быть ей подмогой. «За плутом его даже не видно», — говорит она. Такова эта матерински странная, всепрощающая любовь. Из выцветших лоскутков, выкроенных из отцовской одежды, мать шьет себе платье, а из сравнительно хорошо сохранившихся кусков — прекрасная деталь! — справляет мальчику рубашу. Сохранившийся в ней родной запах отцовского тела поминутно напоминает отца, который своей силой и добротой восхищал и очаровывал его, который первым заставил мальчика переплыть реку, научил скакать на коне, помог одолеть страх.

Во сне мальчику слышится голос отца, он думает, что вернулся глава семьи, ее опора. Время от времени мальчик вспоминает и Сагирию. Вот как обрисован писателем этот конь: «Очень капризный он был и недотрога. Попробовал бы ему сесть на спину тот, кто не нравился Сагирии, так он почувствовал бы себя оскорбленным, как девица, которой сказали что-то непотребное».

Удивительно точно описано, как мальчик рассматривает отцовские письма, как безмерна его грусть. Единственное утешение матери и сына — ягненок, белый, весь какой-то сверкающий, трогательный своей первозданной красотой, шаловливый, напоенный ароматом свежей травы. Вечером, когда уставшая женщина возвращается домой, он дает ей минуты душевного равновесия. Ягненок в этом рассказе — символ чистоты и непорочности, единственная радость для мальчика. И потому понятна тревога, которую вызывает исчезновение ягненка. Со слезами на глазах мальчик ходит по селу, ищет его в ближайших дворах. Но ягненка нигде не видно..

По ходу этих поисков прекрасно описаны местность, жители села — старик Мсигуда, Хилкана, повстречавшие в пути двоих мерзких мужчин и одного — сочувствующего и доброго. Хороши как прерывающиеся характеристики с паузами, так и последовательные, однократные, к которым прибегает писатель.

Разыскивая ягненка, мальчик испытывает и горечь силой навязанной ему игры в войну, затеянной детьми с того берега. Камень, брошенный ими, на время даже лишает мальчика сознания. Весь этот динамично описанный поиск оканчивается драматически. Мальчик узнает горькую действительность — ягненка увел Качиа. Кроме этого белого ягненка, в деревне никакого другого не осталось. Ее жители пожертвовали всем, чтобы ушедшие на войну вернулись с миром. А для Качиа, этого человека-волка, печень и сердце ягненка — излюбленное лакомство, которым ему не терпится наполнить свою утробу. Сильные и добрые, такие как отец мальчика, мужчины ушли на войну, а инвалид Качиа стал сельским милиционером. Сидя на кляче, он рыскает по дворам и вместо помощи, которую ему полагается оказывать, отбирает последнее у людей и без того безмерно нуждающихся.

Волк, этот хищник, описан во многих произведениях и, конечно, кое-где представлен существом возвышенным и постигаемым. Таков волк в «Маугли» Киплинга, в поэме Альфреда де Виньи «Смерть волка»... И в этом рассказе А. Бремса волк мастерски описано, как красиво, как гордо умирает волк. Все это так. Но то свойство волка, которое характеризует Качиа, вызывает лишь брезгливое к нему отношение и никак не может быть воспринято сочувственно. Превращение человека в волка — явление не только известное, но и уходящее своими корнями в глубокую древность. Эта метамерфоза имеет даже свой термин — «ликантрофия».

Посбецав матери мальчика полагающихся ей волов, Качиа забирает за это у нее ягненка. Потрясенный мальчик видит, как сердцем и печенью его любимого ягненка собираются потчевать подлого человека, которого он встретил на дороге. Полуживой, он смотрит на висящую на дереве шкуру ягненка, приносимого в жертву чревоугодию Качиа. Слова, сказанные этим человеком со смехом в разгар войны, не могут не вызвать к нему отвращения: «Жену должны привести ему, жену! Вот тогда чужие молитвы ему и не понадобятся! Вдов сейчас слава богу достаточно...».

Ранее этот гость был описан настолько убедительно, что мы без колебания верим в боль писателя, прорвавшуюся в этих потрясающих до глубины души словах, и в развенчание подобного человека. В пору огромного испытания, каким была Великая Отечественная война для советского народа, в годы беспримерного героизма наших людей, наверное, были и такие подонки. И описывать их так, чтобы вызвать отвращение, дело именно литературы. Живопись и музыка сделать этого не смогут.

И вот мальчик, у которого отняли красоту, олицетворенную в ягненке, на следующий день встречает Качиа, приведшего волов. Конечно, нельзя обижать инвалида, но читатель догадывается, что Качиа достоин того единственного слова, которое бросает ему мальчик: «Кривоногий!». Встревоженная мать несколько раз ударяет мальчика. Он молча переносит ее гнев. И хотя Качиа должен был помочь ему, начинает пахать один. Таков финал этого рассказа. Мальчик, у которого отняли любимое живое существо, красоту, хочет надеяться только на себя. Он один пашет отцовскую землю, вспоминая во время работы того одноклассника, которого любит. Мальчик по-прежнему остается полным доброты и веры.

В этом прекрасном рассказе много интересных наблюдений, переданных четко и убедительно.

И все же несколько замечаний... Слишком часто встречаются в нем слова «будто», «как», «можно подумать», употребляемые для сравнений. Но какими бы эффектными они ни были, от частого употребления становятся менее убедительными. Возьмем, к примеру, фразу — «будто душу держал зубами». А если просто сказать — «душу держал зубами»? У Буннина в рассказе «Лика» есть такая фраза: «Я целовал ее яблочно-холодные щеки». Как много потеряло бы это сравнение, если бы оно звучало примерно так: «Я целовал ее щеки, холодные, как яблоки».



Конечно, иногда эти «будто», «как» и «можно подумать» бывают необходимы, но во многих случаях от них все же следует отказаться.

Есть лишние рассуждения. Лишним в этом рассказе кажется мне занимающее почти две страницы рассуждение о том, что человек спокоен, когда все, что ему дорого, находится на месте, а когда он теряет дорогое существо или предмет, то утрачивает и покой. Тем более что любовь мальчика к белому ягненку описана настолько убедительно, что читатель и без того мог догадаться, как расстроился мальчик. К тому же в этом рассуждении, на мой взгляд, есть и вовсе неуместный фрагмент о том, что конь не хотел идти на войну, но его все же забрали.

После того как Качиа ударил животное посохом, следуют слова: «На него никто не обратил внимания. Видимо, эти люди знали, что Качиа имел привычку бить животных палкой, причинять им боль. Поэтому никто не удивился тому, что случилось». Очевидно, первого предложения: «На него никто не обратил внимания» — было вполне достаточно. Остальное — подразумевается.

Хоть и крайне редко, но все же встречается такое изношенное сравнение: «исчезало, как мыльный пузырь». Ему бы давно пора исчезнуть, как мыльному пузырю...

И еще одно пожелание: было бы хорошо, если бы мальчик имел имя. От этого он еще больше обрел бы плоть. И вообще, главный герой, по моему глубокому убеждению, обязательно должен иметь имя.

Несколько слов о переводе: в лице Джумбера Титмерия эти рассказы из сборника А. Гогуа «Вот здесь вот, за семью камнями», выпущенного на грузинском языке издательством «Мерани» в минувшем году, имеют действительно добросовестного и, что самое главное, талантливого переводчика, осуществившего перевод с завидным искусством. Конечно, очень хорошо, когда переводчик так замечательно владеет грузинским языком и, как правило, ни в одном его предложении невозможно найти грамматического несоответствия, но меня больше очаровала в его переводе наряду с гибкостью предложений завидная смелость в использовании малоупотребляемых слов. Правда, изредка он все же употребляет лишние слова, чаще это бывают местоимения, поставленные там, где в том нет никакой необходимости.

Как это вообще характерно для Алексея Гогуа, и другой его рассказ «Вкус воды» тоже начинается с описания пейзажа, создающего определенное, нужное писателю настроение.

Это — рассказ об одном предсмертном дне быстротечной жизни, когда старик вспоминает все наиболее значительное из нее.

Его герой, старый, внешне неприветливый Шханиквва — человек, остро воспринимающий природу и красоту. Именно поэтому он избегает каких бы то ни было взаимоотношений с людьми, чтобы они не причинили боли его нежной, ранимой душе. Вся прошедшая жизнь старика — боль его сердца...

Это — нанесенное ему в детстве оскорбление, вызванное неблагодарностью. Мальчик поймал рукой загнанную дикую козу (это с первого взгляда невероятное событие благодаря мастерству писателя выглядит вполне убедительно) и отдал охотникам. Уплетая шашлык из козлятины, они поминутно хвалят мальчика, раз за разом повторяя: «Козу поймал, видите? Собственными руками... Представляете, да?!». Как следует насытившись, на второй день они уже ведут такой разговор: «Как мог подняться на такую высоту этот малярийный... на мертвеца похож этот холерный; коза, наверное, испугалась его вида и не смогла сдвинуться с места...». Услышав это, мальчик заплакал.

Бадрак — сосед старика — сначала всякими скрытыми приемами борется против новой власти, а потом, убедившись в своем бессилии, прикрывается маской ее ярого приверженца, ни одного собрания не пропустит, чтобы не распространяться о плюсах новой жизни. Приглашает различных должностных лиц села к себе и пирует вместе с ними. Благодаря разделившим с ним хлеб-соль корреспондентам его фотографии печатаются в газете. Это — мерзавец, наделенный множеством отрицательных качеств, подхалим, бахвал, трус, человек, способный на преступление, — получив такую возможность, обрекает на смерть ни в чем не повинного односельчанина и, конечно же, делает все это чужими руками.

Это — переживания старика, связанные с его внуком, который, живя в городе, забыл родной язык и влюблен в металл; прыгает и поминутно кричит о самолете и ракете. Старик, конечно, не против так называемого технического прогресса, но в железе он видит какой-то иррациональный предмет, противостоящий природе. Он думает: «Лозе железо не нравится, и, только падая, она хватается за проволоку».

Это — грусть старика об исчезнувших из глаз горах и холодной, вкусной родниковой воде, которые он так сильно любит; об умершей жене, о сыне, который редко поднимается в село, о том, что у него нет такого близкого человека, которому он мог бы рассказать сладкозвучные абхазские сказки, особенно одну...

Это — печаль об удивительно красивой цыпленке, которого почему-то поминутно клевала наседка...

Это — печаль о бездельниках, «любителях тени»...

Композиционно рассказ построен на смене трех обстоятельств — настоящего, прошлого старика и эпизодов, связанных с находящимся в Сухуми сыном Сунаром.

Расположившись на развалинах древней взорванной крепости, дельцы пируют с большой помпой. Они гордятся присутствующим среди них кандидатом наук. Сунару этот люд крайне несимпатичен, но по какой-то инерции и непонятной скромности он пьет с ними вино, хотя в то же время остро переживает все происходящее: «Вот и беседа теперь с этими обжорами о гении народа, эпос и неповторимые песни которого донесли до нас из глубины веков его живое сердце, его бессмертие... Что для этих типов Лашкиндар, Амбара или вели-

колепный Моквский храм? Ломаного гроша они для них не стоят!..».

Но думая так, Сунар инертно следует за временщиками. Показывая, что трезво оценивающий ситуацию Сунар все же пирует с ними, писатель выступает врагом этих типов и этих событий. Когда речь идет о противниках истинных интересов его народа, он не может занимать иной позиции и делает это остро, возвышенно.

И для Сунара люди, взорвавшие памятник, — варвары и преступники. Но у дельцов свой резон — надо взорвать и вывезти камни, потому что они мешают отдыхающим. В ответ на это объяснение новоиспеченный кандидат наук патетически восклицает: «И на обломках самовластья напишут наши имена!».

Но Сунар не успеет приехать к жившему в деревне отцу — главному герою этого рассказа, которого тьма застигнет на длинном ли, на коротком ли жизненном пути, так что он не успеет рассказать свою заветную сказку: «И однажды он увидел прекрасный сон: будто над ним веселилось солнце, у ног светила луна, а звезда, сверкающая звезда покоилась на груди... — бубнил старик, и вдруг все вокруг словно погрузилось в чистую, прозрачную воду и заколыхалось... А он, старик, почувствовал, что у него увлажнились до того сухие веки... — И, увидев тот сон, юноша поклялся рассказать о нем только тому, кто, выслушав его, сразу скажет: «Дай бог чтоб сбылся этот сон!».

Так кончается этот высокохудожественный рассказ, заставляющий о многом задуматься, рассказ, где все верно и точно передано.

«В камине, в очагах весело горел огонь. Из глаз сомлевших от тепла кошек струились приятные сказки».

Таким описанием снежного утра начинается рассказ А. Готуа «Азалия».

И таким вот снежным утром у развилки дорог встречаются три одноклассника — девочка и два мальчика, которые в этом безлюдном сверкании невольно искали глазами сказочный столб, на котором были бы высечены таинственные слова: Направо пойдешь.. Налево пойдешь.. Вперед пойдешь.. Назад вернешься..

«Как в первый день творенья — все было новым, непостижимым, таинственным и туманным...».

И на фоне этого первозданно прекрасного снежного поля происходит зарождение первого зла, на которое двух мальчиков подстрекает их красивая одноклассница. Один из мальчиков — «долговязый» — мечтателен и эмоционален, другой — неприветлив и замкнут. Первый — живой и непосредственный, второй — весь во власти какого-то вязкого, тихого зла.

...И вот происходит нечто странное — в разгар зимы долговязый мальчик ощущает запах азалии, именно того растения, которое в их деревне считается приносящим несчастье. И

тотчас у читателя возникает неосознанный страх в ожидании какого-то несчастья. С этого момента в рассказе нарастает ощущение скрытой тревоги, которое благодаря мастерскому крещендо доводится до предельного накала.

Высокий мальчик, в котором снежное поле вызывает радостное восприятие жизни, начинает играть в снежки с низким, насыщенным злобой товарищем и, несмотря на предостерегающий запах азалии, невольно дразнит его. Дело доходит до кровавого столкновения. И первозданная чистота, воплощенная в снежное поле, оскверняется слезами крови.

Есть рассказы, которые очень трудно пересказать, иногда даже невозможно, потому что в ходе передачи их краткого содержания неизбежно утрачиваются мастерски найденные, многоговорящие полутона. Таков и рассказ «Азалия» — о далеком признаке предчувствия и все же о подчинении собственной, вольной натуре. Это рассказ о любви, о непосредственности и зле.

В нем параллельно повествуется о двух событиях — происходящем на заснеженном поле и в прошлом, при сборе дикой азалии.

Эти события часто сменяют друг друга, и именно на их смене хочу остановиться особо. Истинным образом параллельного действия и повествования мне представляется то место в романе Флобера «Мадам Бовари», где чередуется беседа оратора о сельском хозяйстве и флирт Рудольфа с женщиной. Такой прием был хорошо известен писателям прошлых столетий, следовательно, не является он открытием для современной литературы, когда, казалось бы, в прозу вторглось множество новых элементов и так называемый «поток сознания» считается ее достижением. Исследователи, увлекшиеся этими «открытиями», чуть позже, но все же вспомнили, что прием, которым прославился такой титан литературы XX века, как Джойс, прекрасно был известен и Льву Толстому. То же можно сказать об описании персонажа, прерывающемся паузами. И оно встречалось довольно часто в литературе прошлого. Что же касается в данном случае параллельного повествования и перехода из настоящего в прошлое, частой смены времен, то и все это не ново. Правда, писателей прошлых веков характеризовало, с первого взгляда, степенное повествование (писать в манере Штифтера сегодня, наверное, было бы неплохо, но очень сложно). В настоящее же время, когда в прозе больше заметна динамичность, параллельное повествование и смена времен приобрели в творчестве современных писателей особенно большое значение. Главным функциональным средством этих переходов является один из литературных приемов, который лично для меня в силу своего «благородства» заслуживает особого внимания. Этот прием — пассаж. И вот почему называю я его благородным: зачастую, чем больше другие приемы — будь то сравнение, эпитет или что-либо другое — бросаются в глаза и чем они эффектнее, тем лучше и воспринимаются. Пассаж — напротив: чем больше он замаскирован и чем менее заметен, тем больше мастерства в него вложено. Именно это, на мой взгляд, и является искусством пассажа. Наибо-

1935320
1935333

лее четко и успешно, по моему мнению, это выражено в творчестве писателей Латинской Америки (Габриэль Гарсиа Маркес, Мигель Отеро Сильва, Марио Варгас Льюса, Хулио Кортасар). Они — истинные мастера этого приема. Им удается с такой естественностью и непринужденностью переходить из настоящего в прошлое, отсюда — в далекое будущее и вообще так свободно передвигаться вверх-вниз по собственному желанию, что с первого взгляда может показаться — это очень легко... Удивительный мастер параллельного повествования нескольких событий — Марио Варгас Льюса. Даже без какого бы то ни было интервала и пассажа писатель связывает между собой совершенно разные события и делает это, конечно, не ради экономии бумаги. Его пассаж поразительно оригинален: он выявляется в интонациях самих этих событий. Есть и еще один прием. Это — выделение текста различными шрифтами. Несмотря на то, что Фолкнер и некоторые из названных выше авторов блестяще пользуются этим приемом, возведенным ими до предельно высокого уровня сложности, чрезмерно частое использование курсива с этой целью все же кажется мне не вполне приемлемым — ведь в процессе творчества сам писатель все пишет одним почерком...

Это пространное отступление понадобилось мне для того, чтобы подвести свое рассуждение к настроению рассказа Алека Гогуа «Азалия». Думаю, он значительно выиграл бы, если прошлое и настоящее не были бы в нем разделены только интервалами. По-моему, они лишь тормозят события и в без того достаточно динамичном рассказе, который и так читается с неослабевающим интересом.

И наконец, одно из наиболее значительных и интересных произведений А. Гогуа — рассказ «Вот здесь вот, за семью камнями».

Начиная с названия и кончая последней фразой, все в нем то остро, то возвышенно, то символично. Но главное — увидено глазами истинного писателя и верно действительности. Уже в заголовке содержится глубокая символика. По преданию, река очищается через семь камней. И маленькому мальчику Зауркану приходится преодолеть в бегущей среди горных теснин реке пока первый камень. Как и в рассказе «Белый, сверкающий ягненок», это — столкновение красоты и добра со злом. Несмотря на поражение, мальчик нравственно возвышается. Им сделан один, но сложный шаг на пути к становлению мужчины. Здесь тоже все обострено: война, нужда, на селе не хватает мужских рук... Порою нужда толкает людей на недостойные поступки, на хищение, пробуждает в них озлобленность, жадность.

Рассказ начинается с болезни мальчика. Он лежит у окна и смотрит во двор, который «мерцает в темноте». На реку, которая с осени до весны отдыхает. На рассвет и вечер, когда заходящее солнце окрашивает небо какими-то неясными ржавыми полосами, «будто на пригасшую золу налили воду». На осенний лес, словно ждущий хозяина дом... И тут, так же как и в первом рассказе, пожалуй, даже больше, мальчик наделяется удивительной способностью к восприятию красоты. В этой нуж-

де и несчастье единственное его утешение — большой, красивый лосось, который находится в знакомом ему месте.

Приведу лишь несколько фрагментов, чтобы показать мастерство писателя: «Старуха подняла брови и держала подвижно, будто боялась, если чуть опустит — все, оборвутся и упадут на землю».

Ярок и колоритен образ тетки мальчика — Адуши. Чем это достигается? У Адуши — красивые зубы, и она сама уделяет этому обстоятельству огромное внимание. Если можно так сказать, любое действие Адуши происходит под знаком ее зубов. Например: «Она так проводила по зубам средним и указательным пальцами, будто играла на алпхарце (музыкальный инструмент)...». Ее улыбка оставляет впечатление, что у нее зубов намного больше, чем нужно. И даже тогда, когда губы Адуши сомкнуты, — кажется, что во рту у нее бутон лежит. Все это скрашивает образ в юмористические тона.

Глубоко юмористичен и факт наречения восьми сельских детей совершенно неподходящим для обстановки именем «Жорж». Сначала это вызывает удивление, но скоро все проясняется: оказывается, один руководящий товарищ назвал своего мальчика Жоржем, а бросающееся в глаза преимущество этого товарища в том, что он официально носит маузер, другие же имеют дома лишь старые ружья. Вот жители села и пришли к заключению: «Этому с высоты его положения лучше видно, что лучше и что нет; раз так назвал, значит, так нужно»; так в деревне оказались восемь Жоржев-ровесников. Интересен финал этой этимологии: «Но это имя — Жорж — поставило народ в большое затруднение. Все новоявленные Жоржи были соседями. Когда какого-нибудь из них звали, откликнулись и остальные семь. Чтобы избавиться от этого наваждения, попытались как-нибудь переименовать имена. Одного назвали Жорж, другого — Жоржик, третьего — Жорка, следующего — Жорочка, затем — Жорик. Прошло время, и все те, кто легкомысленно назвал сына этим именем, раскаялись. Авторитет маузера заметно упал.. и раскаялись...».

А вот как сказано о морщинах бабушки — этого удивительно близкого мальчику человека: «Морщины требуют: «Принеси дрова», спрашивают: «Зарезать тебе старого петуха?», хвалят: «Другой на твоём месте...», удивляются: «Как ты похудел...», переживают: «Что тебя ждёт впереди, несчастный?».

Или — как глубока и человечна сцена, когда бабушка, у которой мало орехов, все же, готовясь к встрече гостей, хотя и колеблясь, протягивает внуку пригоршню. Он берет только две штуки, и, одновременно радостная и расстроенная, она говорит ему: «Другой на твоём месте взял бы все, неповоротливый...».

Очень точная деталь военных времен.

Теплый, человечный образ отца мальчика: он трудится днем и ночью, надрывается, и вот реакция близких:

«— Эх, устал, сил больше нет, — жаловался он иногда.

— Устал, от чего это ты устал? Пустой мамалыгой кто не кормил семью? — надувала губы Адуша.

— А почему ты думаешь, что мы без дела сидим? — ворчала бабушка. — Что, дома мало дел?



— Пусть развалится семья того, кто меня выдал за своего
замуж! — проклинала мать.

Даже сна упрекала, она! Но на нее отец не сердился.

— Хоть бы ты молчала! — беззвучно говорил ей.

Только мальчик не обижался на отца».

Замечательны взаимоотношения мальчика и отца: «Мальчик не успел насытиться, глядя на отца. Между ними всегда что-то стояло: работа, земля, ночь».

Всего несколькими штрихами обрисованы и образы других персонажей. Один из них — отец Жоржа, мельник, который и слова не вымолвит, если голоден, но когда наполнит свою утробу, безостановочно мелет языком. Или — почетный гость, который, сказывается, с детства любит рыбу и имеет «бескровное, как холодильник, лицо», или — парень с каменной головой, «бодливый бык». Все они какие-то удивительно живые и настоящие.

И вот мальчик, у которого убили красоту, в данном случае большого лосося, «встать не мог и не хотел. Куда он мог пойти. Он был высушен, опустошен, как река, у которой отобрали все...».

Страшный факт: мальчик с отнятой красотой, у которого, для того чтобы угодить какому-то везучему прохвосту, двое жирных мужчин отняли калоши — невообразимую роскошь для того времени — и бросили их в реку, а потом даже выстрелили в лосося. А мальчик в сборванной одежде держал в руке эту убитую красоту и бежал, чтобы спасти ее.

И вот насмешка судьбы: мальчик собственными руками приносит лосося домой, где среди гостей застаёт именно тех людей, которые выстрелили в него. И как верно, с какой силой звучит в финале лейтмотив всего рассказа: «Война, и потом...».

И несмотря на все это и именно потому этот рассказ Алексея Гогова, как и другие, — о добре и свете.

Владимир ЛЕОНОВИЧ

Радость НЕИЗВЕСТНОСТИ

Напишу ли я роман,
или писем чемодан,
или мысли ни единой
слову не предаю, —
есть возвышенная сфера:
совершенно все равно,
в чем —
одна душа и мера.
Тот молчит, кому дано.

Посадит Боратынский свой лес на пустоши — или напишет элегию? Страстный современник сумрачных лет, он стучится к ним — глухо. Взывает к «новым племенам» — пусто:

Ответа нет. Отвергнул струны я —
Да хрящ другой мне будет плодоносен!
И вот ему несет рука моя
Зародыши елей, дубов и сосен.

Творческая жизнь восторжествует в деревьях леса, как торжествовала в словах. Только сильный общественный темперамент сопрягает временное и вечное и не видит различия

в родах деятельности, различая дело и безделье. Только сильный художник настолько поддается метафоре, что переносит жизнь со страницы на пустынную землю. Когда-нибудь для отблагодарит его и вырастит погребенные помыслы.

Метафорическое письмо, отражая связь явлений самую глубокую, содержит уже в себе, в ткани своей — некоторый взгляд из Бесконечности на предмет письма. И словно разогнавшись издали, взгляд этот впадает в бесконечную Близость созерцания. Вот польза пространства, самого по себе, кажется, безучастного. В космической камере душа необычайно внимательна к милым покинутым мелочам: и в них открывается ей Космос.

Достоевский, создавший как бы доктрину русской жизни и виведший пути России с недосыгаемой для других высоты, разглядел оттуда — слезу ребенка. Замечательно, что единственная русская трагедия написана Пушкиным о крови царевича Димитрия и стоит на ней как храм. Мало кому известна такая подробность: чтобы соблюсти видимость, в Угличе убили другого мальчика и теплое еще повезли для погребения в Москву — как бы нетленные останки царевича.

Бесконечная удаленность — бесконечное проникновение. Говорят, если бы человек мог осознать малость свою — относительно Вселенной, — сознание убило бы его. Но он жив и храним — парадоксами самой обыденности. Он воспитан средой чрезвычайной.

И когда к колодцу рвется
Смерч тоски, то мимоходом
Буря славит домоводство...

(Б. Пастернак)

Мы живем в Космосе, такой-то подъезд и этаж; любое наше движение детерминировано бесконечно и вне зависимости от сознания или желания. Если в драматической сцене у Достоевского некто уничтожался в уголку, то это — трагедия в себе, означенная единственной ремаркой.

Предмет этой статьи — поэтический перевод — мне хочется вовлечь в некоторое пространство и пространство это наделить обратной перспективой — справедливости ради. Так простое убийство неведомого мальчика в Угличе по закону этой перспективе становится гораздо большей трагедией, чем та, что нам известна. Еще мне хочется вообразить наше пространство бесконечным. И не в безумии этой попытки, а в крутизне обыденного смысла угадывать признаки Бесконечности. Пусть пространство простирает предмет и насытит. Так книжники древности вовлекали свои писания во Время от Сотворения мира до Судного дня. Перспективу возмездия как истые лирики они приближали. И славу далеких предков возвеличивали — таким же образом. О том, что русская литература начала свою оригинальную жизнь с переводов, я хочу только упомянуть. Фраза уничтожается в уголку абзаца.

В известном смысле каждое явление — перевод другого. ЧТО НЕ ПЕРЕВОД? То, видимо, что не имеет причины

возникновения. Что же тогда — некий фантом, ниоткуда возникший, не знающий подобий? Только. Все остальное — либо причина, либо следствие — перевод. А следствие — единственная причина. Перевод — синоним развития. Синоним перевода — преобразование.

Я хочу сказать несколько слов о свободе и странностях перевода. О той свободе, которая образована доверием подлинника ко мне, переводящему. Он беззащитен — и потому я вдвойне требователен к себе. Пора потеснить суровую и уже душную антитезу: свобода — необходимость. Свобода слишком тут грустна, ее надо утешать. К делу, о котором я говорю, более подошло бы взаимодействие свободы — и доверия к ее прекрасным силам. Доверие связывает — но уже не так, как необходимость. Это не цели — это что-то живое. Но лес Боратынского меня еще не отпускает:

Ужаснулся, что содеял, навсегда отрекся слов
и еловый бор посеял на две тысячи стволов —
без заботы о текучих нежных формах естества —
угадал в теннстых сучьях отреченные слова.

Темный шум — глухая слава — все прекрасно —
все — равно...

Тишины святое право думающему дано.

Давно написаны «Метаморфозы» — вереницы баллад о прихотях жизни, перетекающей из формы в форму. Их заключает «Памятник»: лучшей частью — парте мелиоре — Овидий жив и — по нашему закону — был жив и «раньше себя» — в поэтических предметах, избирающих творца. В «Аттисе» Катулла, например. Так Галактион Табидзе жив был еще в Лермонтове: Я звук нашел, неведомый доселе. И в «Романсах без слов» слышался у Верлена...

Меня привлекает художественное сознание древних: не пропала жизнь и чувство хранится... Продолжу: где этого почему-либо нет, возникает страшная энергия вакуума: жизнь должна быть здесь!

Мой ум упорствует, надежду презирает:
Ничтожество меня за гробом ожидает.

В этой драме я принимаю сторону надежды. Мне хотелось бы наделить ее опытом разумной жизни поколений, хотя такая задача мне не под силу. Но каким-то образом я знаю, что при пожаре Александрийской библиотеки ничего не сгорело. Что не пропало для нас ничто из того, что когда-либо было почувствовано и подумано человеком. Написано — или не написано. Что бессловесный мир зверей и растений тем красноречивей, чем бессловесней в шуме наших прений. Ни земля, ни камень не взяли того, что выкрикнула душа или выплакала. Нет! Все живо и слышно. Оно и составляет эфир, в котором возможно дышать. Здесь торжествует память и мается совесть. Вот среда нашего обитания и нетленное достоинство человечества — если взглянуть на него из вселенского далека... С чем мы придем к вероятному собору Цивилизаций?

(Любопытно, что Циолковский, чья практическая мысль возносит нас в Космос, столь же практически думал о бессмертии и потому был поэтом «обманчивой мечты». Так Федоров, его учитель, думал о реанимации когда-либо существовавшей жизни. Поэзия и Наука на уровне поэзии — согласны).

Светом бесконечно дальним отмечена всякая подлинность: оглянитесь крутом, проверьте. А если говорить о искусстве, то удаленность эта сообщает предмету покой — чтоб сокровенные страсти не взорвали форму. Дальний свет на ней почит — и нет другого слова передать власть этого покоя.

Облако пролетает будто сорванный парус.
Горный кряж — изваяние ветра-и-корабля.
Я заклинаю Хаос: цминда арс, цминда арс,
Цминда арс, хаоси! Вечереет земля.
Имени твоему отзывается строго и слитно.
Розы жертвенные разбросаны — то мерцанье долин.
На вершинах мятежных почует моя молитва.
Я твой гений, о Хаос. Я форма! Я твой властелин.

Стихи эти Галактион называет «Молитвы ради». В их вольном переводе стало сказываться отношение человека и природы, творца и материала — я не помешал этому.

Как летописец во времени, так стихотворец определяется во всей своей опытности и во всем слышимом и значимом историческом пути слова. Тогда-то оно и возобновляется у него на слуху. Является свежесть очнувшегося смысла и звучания. Экспозиции самые невероятные окружают написанное таким образом. Мера ответственности за слово есть мера богатства его значений, одно из которых предпочтет музыкальный слух — он не спорит с глубоким знанием — наоборот! Они рады друг другу.

Слово значит то, чему откликается. Слово есть симфония отзвуков, и некоторые осмыслены. Помножьте это на число людей народа — и вы потонете в буре звучаний. И странные связи пронизуют единый, казалось бы, словарный смысл. И понятия столкнутся — иные уничтожают друг друга — во имя одно...

Слово в строке значит и знает по крайней мере то, о чем догадывается стихотворец. Потом окажется, что знает оно гораздо больше. Но вся сила прозрения не сказывается вдруг. Пусть ребенок похож будет на отца. Ну, на деда пусть. А если ярко отродится в нем лицо предка... Мы дети земли — нас пугают подобные связи. Пусть корни живут под землей.

Мы, «как и никто и никогда, не в силах усвоить себе всех основных родовых стихий» живого чужого языка. Это писал Достоевский, чья проза соткана из поэзии. Родовые стихии — в них кушается слух от колыбели до гроба. А тот, кто переводит с другого языка, даже овладев им, никогда не узнает, что творится в мире, откуда извлечен оригинал. Никогда не услышит, какой гул идет там от столкнувшихся двух слов.

С протяжным грохотом Пальмира упадет!

Кто отважится перевести «Пророка», принадлежащего уже не Пушкину одному, но пронизавшего всю духовную жизнь России? Кто переведет огромную жизнь этик, если многотомный мыслимый «подстрочник» охватит ее и растолкует? Не было в России мыслящего человека, не пережившего эту жажду, и пустыню, и все — вплоть до позорных риз и веревки на шее! Стихи неизмеримо больше себя — снова Космос — и даже изначальнее пророчеств Исайи. Перевести их со всею жизнью их — нельзя. Стихи эти, кроме того, еще и перевод...

Но бедна та нация, в которой не может родиться столь мощной духовной жизни, отлитой в строфы. Видимо, тут загадка «Мерани», не преображенного русским художником и не вызывающего в русском мире того, что вызывают гордые стихи Бараташвили в мире грузинском. Летит конь — разве конь? — и малыштрем вовлекает грузинскую душу в этот полет. Влачится в пустыне измученный старик, наказанный жаждой истины — за празднословье. И совершается подобное — там и здесь. Глубиной отзыва роднятся вещи. Они не переводят одна другую, но намекают на неожиданность перевоплощений.

Поэтические вольности втайне нам симпатичны, и весьма, но на миру столь же предосудительны. Рабская психология. Природа наша сильно перевоспитана. Не пора ли вернуться к общему здравому смыслу, исходя из его прекрасных слагаемых?

Перевод слова — словом хуже всякой отсебятины. Это просто фальшивка. Муляж. Надо загородиться от мира и оглохнуть, чтобы изготавливать такое.

Пора сказать: нет материй более разнородных, чем одинаковые слова разных языков.

Чтобы вызвать подобное, поэт переводящий свободен в средствах и связан лишь тактом в обращении с тем, что дорого поэту переводимому. Он — душеприказчик. Последний делает то, что хотел бы первый. Этим невысказанным желанием надо дорожить, сначала, разумеется, угадав его. (С волей прямой — легче. С ней можно еще и поспорить). Хорошо заново узнать — известное, но обрадоваться — неизвестности в нем! Если мальчик похож только на родителей — где же мальчик? Где родители? Презренные копнисты! К счастью, природа распоряжается глубоко и мудро, а дегенераты здесь не в счет.

Природа избавляет нас от тоски повторений. Она подсказывает нам, как быть в том деле, которое сродни ее делам. Ни с чем не мог я сравнить тетеревиную трель — любовную песню ранней весны и поздней осени. Но расцвел ландыш — и я увидел эти звуки. И теперь при виде ландыша я слышу их. Образ звука... Звук, преображенный, свежий, как бы молчащий, но посмотри...

Орлиный отрешенный круг —
свободный перевод рельефа,
и взгляд возвышенный — и с неба
в тебя вперяющийся вдруг.

На дерево взобрался плющ,
гранит посеребрили слизи —
они повинны в буквализме,
который столь им при-со-суц.

Ты многого еще не знал.

Доверься счастью, брось поводья:
сию минуту в переводе
рождается оригинал!

Зима, — над нами — высоко,
а здесь весна — сырой подстрочник
ручьев, ростков, снегов непрочных...
Я вижу осень, дзамико.

Хорошо переводить те стихи, которые совсем нельзя пере-
сказать. Если вы думаете, что их пересказывает подстрочник, вы
ошибаетесь: он делает очевидной эту невозможность. Чем не-
лестнее подстрочный перевод, тем вероятнее гармония в тайная
тайных другого языка.

Есть частушка у нас:

Изменяй меня, залетик, сколько хочешь изменять,
Только тайного словечка никому не выясняй!

Услышишь такое — и жить хочется... Родное слово оста-
нется втайне. Гений не связывает тебя средствами. Но облака-
ет доверием. За ведомо не те строчки возникнут в переводе...

А слово — матерья

Лукавая. Слово — преддверье преддверья —
Великолепный сквозняк анфилады —
От вечной победы до вечной расплаты.

И смысл не устоит на месте — двинется в сторону апокри-
фа — толкования — в сторону самоотрицания! — чтобы по
дороге произвести движение в умах. «Подальше положишь —
поближе возьмешь» — говорит пословица. Она исчерпывает
предмет этой статьи, не имея, как водится, его в виду... В
дальнем — обрести ближнее. В свободе — точность и еще
кое-что. Я не мешаю ассоциациям — привлеченные обрат-
ной перспективой, они льнут ко мне — нас много — я иду
небольшой толпой... подождите, однако.

Буремглою небокроет —

услышал я в детстве от бабушки. Потом ни одна буря, ни од-
ни ветреные сумерки не обходились без этих стихов, а они,
в свою очередь, без того голоса, который произнес их впер-
вые. Никто не учился родному языку по словарю; каждый,
напротив, может написать собственную словарную статью. Бу-
ря... Бабушка... И прояснится деревянный дом в Костроме на
Пастуховской, и Волга, и тут же: **В ночь погода зашумела.**
Взволновалась река — а потом страшные полдневные сум-
мерки, поле, гроза, и ветер срывает соломенную светящуюся

крышу с овина, и я впервые слышу слово **циклон** — круг-
лое, с рожками. (Теперь овины под шифером, но слово **овина**
помнит солому). **Буря... Юношество... Будет буря — мы по-**
спорим. Потом в **бурной мгле** осветилась скала из **двух** **пород**
ней — **Прекрасней волн, небес и бури!** Но это еще как ска-
зать. Зато в самую кровь вошло: **Где как не в буре И раз-**
вернуться славянской натуре? И рядом с этим — притихшее,
исповедальное:

**Если пасмурен день, если ночь не светла,
Если ветер осенний бушует...**

Он приготовил тишину морозной ночи и небывалую чет-
кость равнины, озаренной луной, и белую колокольню, и ста-
рика на ступенях.

**Подымись — и медлительно бей,
Чтобы слышалось дальше гуденье...**

Оно и слышится. Некрасов со мною всю жизнь.

А это мне хочется развернуть как снежное поле с обры-
вом к замерзающей реке: **Быстрина струи черные вьет, и мер-**
цающим настом на округу под шагом нечастым промерзлое
поле поет. Славным мастером отлита на окрестную весь музы-
кальная эта плита — затаенная песнь. Поле. Поле! Еще
мы споем... Так вот где еще буря — в оцепеневшем простран-
стве!

И наконец: **Печален страсти мертвый след — поздний**
возраст, настигнутый бурей, когда-то благодатной.

Теперь произнесите: **каришхали** — и вслушайтесь в вашу
память, если вы грузин.

Я подожду.

Не правда ли: два слова — два мира? И велик выбор,
если гармоническую множественность этих миров я захочу
переозвучить, переосмыслить... **Каришхали — буря?** Ни за что!
Не слышно!

Когда-то в нашу кровь канули разные звуки.

Поэтому я обращаюсь к своей и — в меру моих пред-
ставлений о ней — народной русской музыкальной па-
мяти. Там должно произойти некоторое возбуждение... И
вот вам — необходимость свободы обращения с ори-
гиналом. В ней, повторяю, обретается точность и еще кое-что.

Одиссей воротился, пространством и временем полный.

Так возвращается к жизни на другом языке любимое ва-
ми произведение. Мудрено ли, если вы не сразу его узнаете
и поспешите сказать: нет? И Одиссей не узнал ведь родимой
— **Итаки** — и там никто его не узнал. Тем разительнее откро-
венье.

Поговорим о странностях любви, Иного разговора я не смыслю.



Одна из странностей нашего предмета в том, что как бы меняется род искусства. Внешне и там и здесь — и в первом и во втором оригинале — слова и строки. Но по существу — все другое! И вот я ставлю драму оригинала — чтобы утвердить достоинство оригинала за новым произведением. Или, не выходя из средств словесности, выполняю скульптурную группу. Или в движениях стиха угадываю движения танца. Или — и это грех — перевод приобретает черты пародии, и оправдать меня может лишь одно: спор с автором не бесплоден. Или, наконец, возникают мысли по поводу... Приверженцы слишком близкого перевода должны меня растерзать.

Есть несколько переводов «Божественной комедии» и многочисленные подражания Данте. Хочу помянуть только один перевод: он выполнен Микеланджело на алтарной стене Сикстинской капеллы. Читать его можно столь же подробно и долго, как терцины «Ада». Здесь Данте, здесь Библия и античные мифы, здесь пророчества Савонаролы и здесь, между прочим, автопортрет художника, снявшего с себя шкуру — так! — а за что, он знает. За то, вероятно, что знает это лучше карающего бога. Шкура — пелича — кстати, то, что остается от художника после такой работы, как эта роспись. Недаром сказал он:

Я только смертью жив.

Вот так перевод...

Он высекал свою живопись. Краски странно блекнут и хотят быть камнем...

А первая Пьета... Вот что она делает: она переводит гнев на милость. Если подножье, я полагаю, он выгрыз зубами и камню отдал молодой гнев и стыд за дела современников — то лицо Марии он изваял, не касаясь мрамора, — как бы дыханием только. Путь к миру и свету, который следовало бы пройти человечеству, прошел он за два года. Уж не говорю, что сюда канула мысль о судьбе художника — та, которой сбыться не пришлось: мира не достало...

Гнев — на милость. Как легкомыслен язык! Какие бездны покрывает легкое звучанье!

Я весь перерождаюсь в звуки —

кто бы, вы думали, это пишет? Гоголь. Интересно перечитывать его статьи. Редкое явление — пребышение жанра, так сказать. Картина гибели Помпеи у Гоголя в статье местами даже ярче, нежели у Брюллова на знаменитом полотне. Гоголь просто не умел писать по-другому — и знал за собой эту странность.

«Весь таинственный состав (мыслей. — В. Л.) требует звуков, одних звуков. Оттого поэзия неуловимо очарователь-

на, грациозна как музыка». Это о Пушкине. И — о Галактионе. «Поэзия мыслей более доступна каждому, нежели поэзия звуков или, лучше сказать, поэзия поэзии». Конечно — о Галактионе! «Звуки... говорят словами, выговаривают речи...».

Поэтика вольного перевода давно, широко и разнообразно рассыпана — повсюду. Это дело естественное, и настолько, что нам не снится. От трансмутации элементов до грандиозных превращений во Вселенной — повсюду эти странности.

Глаза сторожевые. Терпение. Покой.
И долго гнется вья обратною дугой.
Орлиная — чужая — восходит голова.
Тебя сооружая, природа не права.
И не права пустыня, где ни воды, ни трав.
Ты, вьючная скотина, один остался прав.
Скотина непростая: ублюдок и урод,
Из рабства израстая, до воли дорастет!
Когда же совершится безумный подвиг твой —
Взлетит большая птица с верблюжьей головой.

Я ЛИШЬ РЕАЛИСТ В ВЫСШЕМ СМЫСЛЕ — сказал о себе фантастический художник Достоевский.

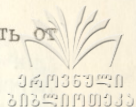
Парализованная и ослепшая балерина из хлебного мякиша слепила мышонка. С этого началась жизнь скульптора Лины По. Затем она лепит «Балетную сюиту». Коненков и Нестеров пишат о чудном даре...

Совершается неведомое — всюду — и даже в поэзии, где уже все, кажется, и очень давно совершилось.

Народу нужен стих таинственно родной.
Чтоб от него он вечно просыпался —

и узнавал бы космическую нашу реальность — не в ущерб ее цельности. Так раскрываются секреты — не в ущерб тайне. Так работает сознание... Я повторяюсь? Не знаю. Я хотел бы повториться — как «Болеро», где ширится и проступает ритм, схваченный однообразной мелодией. Повторюсь: оказалось, что Галактиона услышал — Гоголь. **Говорят — словами...** Так писали великие книжники и так лепечет дитя. Энкиду **глядит и смотрит.** Ненужное дополнение или пропавшее подлежащее. Странные части — и тяжелый — и парящий громозд целого. У Гоголя повсюду — сдвиги, словесный рельеф резок и вдохновенен. О, если б кто-нибудь написал этот пейзаж, эту тектонику, этот стиль! Ослепительную роскошь и негу, и все чудеса, и тьму кромешную посреди света! Гоголь — уж не грузин ли? Земля под ним ходит ходуном — и небо спасает его от преисподней. Его гений питала память малороссийского языка — языка чудесно обнаженных славянских корней. Он ученик этой крутизны. В прозрачности и глубине он развивался, а исторические занятия обогатили слово... И потом, слух его попал в соседство двух близких.

языков — судьба Шевченко — и надо было не оглохнуть от какофонии, но извлечь резвую свежесть...



Разогни книгу Ветхого Завета!

Здесь брезжит и Гурамишвили...
Но о ком я пишу? Кажется, о Галактионе.

«Я должен умереть тогда, когда я только начал читать по слогам в своей профессии». Это говорит 89-летний Микеланджело. Совестно думать, что родной язык нам внятен — хоть наполовину. То, что я написал о симфонии отголосков, я написал от тоски по этому звучанию. А так — мы не знаем, по какому золоту ходим. О звуках, о музыке речи писал Андрей Белый — но предмет будто ушел из-под рук исследователя-поэта. Многие услышал Хлебников. Цветаева была очарована «уступчивостью речи русской» и проникновенностью созвучных смыслов. О вещах такого рода говорил Блок: знать этого не надо. Пастернак знал жизнь как словарь — действительный критерий — и все говорил — уже тогда, когда распевался. Но звуки смирял с течением лет, отдавая предпочтение паузе там, где она могла быть красноречивее слов. Мандельштам взрывал паузы. Страшная свежесть потрясенной речи... «Молодой Державин»? Прозорливое имя, в пору пришедшее, однако, старому Мандельштаму. У Ахматовой звуков будто и нет — высший дар. Так некоторые осенние стихи Пушкина тихи и беспорывны. А звук будто вынужден...

Но печальное признание сделано. Мы глухи наполовину: современный язык от корней оторван. Да, историю не вытирают — как родителей.

Отечественной «латыни» мы не слышим. Но, может быть, когда-нибудь, передождорливые потребности, мы обратимся и к ней?

Я очарован родным языком, будто вчера его услышал. В жизни его наступает эпоха Возрождения. Ибо — да простится мне эта игра — много важных исторических забытий произошло у него на веку, а всепомнящий эфир этого не терпит. Широкое разлитие массовой культуры необходимо скльнется к центру и — насколько хватит силы — углубится в родную почву. Напомню старые стихи:

Предрассудок — он обломок
Древней правды. Храм упал,
А руины его потомок
Языка не разгадал.
Гонит в нем наш век надменный,
Не узнав его лица,
Нашей правды современной
Дряхлолетнего отца.

Все же, надеюсь, он узнает родителя—как современный лирик усвоит заново эту инверсию и откроет возможности ее и перспективу понятий внутри и впомнит, откуда ~~завсегда~~ таксис. Какие открытия нас ожидают!

Не беспокойтесь за судьбу **второго оригинала**: он будет жить хорошо. Ему хватит воли — и памяти хватит. Переводчик не знает грузинского? Ах, знал бы он русский! Ибо мысль, свободно и щедро изъясненная, чудесным образом обнимает вдохновивший ее предмет. Но тут начинаются «Египетские ночи», столь счастливо оборванные...

Опять Галактион?

34905940
8172010033



«РЕШИВ сбросить нас в море, Гитлер на этом участке фронта поставил на карту все. Создавалось тяжелое положение. Тогда Военный совет 18-й армии, а практически я, написал письмо-обращение к малоземельцам. Оно пошло по окопам и блиндажам. Люди резали руку и расписывались на нем кровью. Один экземпляр я послал позже И. В. Сталину, чтобы он понял, как дерутся бойцы.

«Отвоєванный нами у врага клочок земли под городом Новороссийском, — говорилось в письме, — мы назвали «Малой землей». Она хоть и мала, но она наша, советская, она полита нашим потом, нашей кровью, и мы ее никогда и никакому врагу не отдадим... Клянемся своими боевыми знаменами, именем наших жен и детей, именем нашей любимой Родины, клянемся выстоять в предстоящих схватках с врагом, перемолоть его силы и очистить Тамань от фашистских мерзавцев. Превратим Малую землю в большую могилу для гитлеровцев!»...

«...На фронте людей узнаешь очень быстро, там сразу видно, кто чего стоит. Леселидзе был одним из талантливых полководцев, олицетворявших лучшие черты советского человека. Суровый и беспощадный к врагам, добрый и мягкий с друзьями, человек чести, человек слова, человек острого ума, жизнелюбивый и храбрый — таким остался в памяти мой боевой друг и соратник Константин Леселидзе.

О дальнейшем можно много рассказывать, можно написать целую книгу, потому что тысячи километров дорог и долгие месяцы войны были еще впереди. Но сегодня мне одно хотелось бы подчеркнуть еще раз: память о Малой земле, закалка и опыт Малой земли сопутствовали мне и моим боевым друзьям до последнего выстрела. К порыву, отчаянной храбрости, патриотизму бойцов прибавились хладнокровие, зрелость, расчет, умение воевать, и все это, вместе взятое, привело нас к победе».

Из воспоминаний Леонида Ильича Брежнева «Малая земля», опубликованных в журнале «Новый мир» № 2 за 1978 год.



СЛАВА
И ВОЕННО-МОРСКОМУ
ФЛОТУ — НАДЕЖНЫМ
ЧАСОВЫМ НАШЕЙ РО-
ДИНЫ!

Майя НЕМИРОВА

В бою и в науке — на переднем крае

О ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТЕ артиллерии Ираклии Ивановиче Джорджадзе — заслуженном деятеле науки РСФСР, докторе военных наук, профессоре, начальнике кафедры истории одной из советских военных академий — в Грузии писали мало. И писать о нем совсем не простое дело. Все, что генерал рассказывает, глубоко, значительно и интересно. Но как поделитья всем этим с читателем?

Ираклий Иванович не спеша рассказывает по кабинету. Здесь на полках огромное количество томов и среди них — немало книг и рукописей трудов ученого.

— Первый бой. Первый убитый враг. Первое ранение. Первый, погибший на глазах, подчиненный тебе солдат, — вспоминает генерал. — Это запоминается на всю жизнь. А потом новые бои. Горечь утрат. Нечеловеческие трудности. Война! Вряд ли я скажу что-нибудь новое о войне, о сражениях, в которых участвовал. Командовал артполком, воору-

женным противотанковыми пушками. Его бросали, в основном, на борьбу с тяжелыми танками гитлеровцев на важнейших танкоопасных направлениях...

Война заставила нас пересмотреть уставные положения, которые предусматривали расположение батарей на танкоопасных участках. Ведь это позволяло противнику свободно продвигаться по дорогам и, самое важное, делало малоэффективным огонь орудий, скрытых в ложбинах. Война заставила нас строить позиции прямо на дорогах — для дуэльной борьбы с фашистскими танками. Разумеется, потери артиллеристов сильно возрастали. Но ведь враг теперь терял танков во много раз больше, чем прежде! А главное — мы отныне надежно преграждали путь фашистам на важнейших направлениях. Иной раз артиллеристов-противотанкистов называли «смертниками». Нет и нет! Бессмертны советские воины, погибшие в тех жесточайших сражениях!

Мне довелось участвовать в тяжелых оборонительных боях начального периода войны. В битве под Москвой, под Сталинградом, под Курском, в Белорусской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской, Берлинской операциях. Они развивались по осевому стратегическому направлению: Москва — Смоленск — Варшава — Берлин. За все годы войны с передовой я выходил лишь дважды: когда был тяжело ранен. А два ранения перенес в строю. После войны занимал различные командные должности, преподавал в военных академиях... Как, впрочем, и сегодня...

Да, за плечами Ираклия Ивановича четыре года войны — с ее первого и до последнего дня в поверженном Берлине. Бывало, командир полка и на место наводчика становился, потому что от полка оставалась лишь горстка бойцов и несколько орудий, бивших прямой наводкой, когда враг наседал особенно осатанело и надо было во что бы то ни стало преградить ему путь. Бывали и схватки рукопашную, когда уже орудий нет, а гитлеровцам все равно — не пройти! Ираклий Иванович не любит рассказывать о своих боевых делах. Но я-то хорошо знаю, что таких боев было немало и что командир полка в жестокой борьбе с фашистскими стальными чудовищами всегда оставался победителем. Как те, далекие его предки — грузинские витязи.

— 5 августа 1943 года на рассвете, — вспоминает Ираклий Иванович, — мы овладели железнодорожной станцией Орел. Вдруг меня неожиданно вызвали и на самолете ПО-2 перебросили под Смоленск. Там я узнал, что в деревне Хорошово должно было состояться совещание командующих фронтами. Так как линия обороны проходила неподалеку, необходимо было осуществить военное прикрытие объекта.

На меня возложили задачу артиллерийского прикрытия. Это было совещание исторической важности. Битва под Курском решалась, как триединая стратегическая задача: предельно мерная стратегическая оборона, которая должна была измотать и обескровить главные ударные группировки врага; стратегическое контрнаступление против групп фронтов по разгрому Орловской и Белградско-Харьковской группировок

противника и, наконец, наступление на фронте, протяженностью в две тысячи километров — одновременно, от Смоленских ворот до Азовского моря. Оборона, к которой решила перейти Ставка, несмотря на наше полное превосходство на земле и в воздухе, имела целью меньшей кровью разгромить главную ударную группировку врага, создавала условия для контрнаступления. А оно, в свою очередь, обеспечивало переход в стратегическое наступление.

Ираклий Иванович задумался...

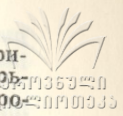
— Почему я вспомнил сейчас об этом? Для нас, военных историков, Курская операция и по сей день является предметом тщательнейшего изучения, как одна из гениальнейших тактико-стратегических операций в мировой истории войн. После разгрома гитлеровцев под Курском мы шли только вперед! Я и многие мои товарищи хотя уже и тогда носили офицерские погоны, но, по сути, являлись солдатами, не имели возможности охватить всю глубину этого гениально задуманного стратегического плана. Но мы участвовали в его осуществлении. Как солдаты переднего края. Войну мы видели не из блиндажей КП и НП. Мы участвовали в ней своей кровью, и раны наши не от осколков бомб и снарядов, а от вражьей пули и штыка.

Мое поколение, которое сейчас занимает руководящие посты в Вооруженных Силах, обогащено подлинностью военного опыта. Теоретические знания, полученные в свое время в военных училищах и академиях, проверены нами в боях. И сквозь призму этого своего тяжелого, сурового, подчас горького практического боевого опыта мы, военные ученые, вывели нашу военную теорию.

Ираклий Иванович рассказывает мне о локальных и глобальных войнах, о пресловутой теории Джона Шлесингера — автора «мини-ядерной» войны, должной стать «детонатором» всеобщей ядерной войны. Он поясняет затеваемые империалистической военщиной планы, тайны международной стратегической обстановки...

— Разумеется, возникает вопрос, над чем я работаю сейчас, — предвосхищает мой вопрос Ираклий Иванович. — Все, что я делаю, подчинено единой цели: предотвращению войны и укреплению мира! Борьба за предотвращение войн, борьба за мир — основное качество, отличающее нас, военных социалистического лагеря, от милитаристов из лагеря империализма. Мы и свои Вооруженные Силы крепим, чтобы предотвратить войну.

В одной из своих последних теоретических работ (их у Ираклия Ивановича более ста тридцати, — М. Н.) я доказываю необходимость запрещения всех форм и способов подготовки локальной ядерной войны и вывоза в свои страны ядерного оружия, предназначенного для ведения войны. Предотвращение наиболее опасной возможности развязки ядерной войны — в различного рода локальных ядерных и «мини-ядерных» войнах — будет воспринято народами всего мира как осуществление долгожданной мечты, избавляющей человечество от ядерной катастрофы. Во второй своей работе я теоретически доказываю, что переживаемый империалистиче-



скими державами военный кризис есть не что иное, как критическое состояние военной политики империализма в борьбе с лагерем социализма, когда все попытки развязать мировую ядерную или обычную войну становятся не только бесперспективными, проигрышными и антинародными, но таят в себе реальную опасность гибели мирового империализма...

Ираклий Иванович останавливается у окна в раздумье. Мне виден его гордый, резко очерченный профиль. Я храню молчание, боясь помешать мысли рассказчика и не теряя надежды, что он вновь заговорит сейчас о своих боевых делах. За два десятка лет нашего знакомства я не раз слышала эти удивительные эпизоды. Но он говорит совсем о другом:

— Просто необходимо писать — и много писать! — о грузинах — героях Великой Отечественной войны. Подумать только, ведь в Академии наук Грузинской ССР (пожалуй, единственной в Союзе) отсутствует отдел изучения Великой Отечественной войны! Грузия имеет богатейшую военную историю, которая правомерно привела к высочайшим проявлениям массового подвига в наше время: она ведь дала стране 148 Героев Советского Союза! Но до сих пор слабо освещается в печати, в научных трудах подвиг грузинского народа в Великой Отечественной войне. Обобщить историческую закономерность боевой славы нашего народа — долг ученых и воинов. И делать это надо не откладывая в долгий ящик, потому что нас, людей, от которых можно получить ценные материалы, с каждым годом становится все меньше.

Слабо стимулируется и традиционная для грузина военная служба, хотя историческое рвение грузин к службе в боевом строю было особенно велико, а грузинский генералитет в русской армии всегда был достаточно многочисленным. В войне с Наполеоном, например, участвовали сотни офицеров и генералов грузин, а полководческое искусство Петра Багратиони стало предметом изучения каждого военачальника...

Есть вещи, мириться с которыми невозможно, как невозможно воспринимать их равнодушно. Я имею в виду верность памяти, бережное отношение к истории своего народа. Хоть я и очень загружен работой в академии, но все-таки поставил перед собой цель — написать историю военной славы грузинского народа с древних времен и до наших дней. Уже приступил к разработке и исследованию материала.

Историю Грузии писали такие выдающиеся историки, как академики Джавахишвили, Бердзенишвили, Джанашиа и другие крупные специалисты. Но вот история военной славы нашего народа не поднята ими профессионально до уровня военно-исторической науки. Не освещено и ратное искусство грузинского народа, его неоценимый вклад в сокровищницу мировой военной науки и практики. А в этом аккумулируется большое достоинство, слава и гордость народная. Разумеется, грузины, как и другие маленькые народы, не виноваты в том, что у них не было специалистов — военных исследователей, военных историков, как, например, у Александра Македонского, которому Аристотель не только выработал доктрину завоевания мирового господства, но и направлял в походы исто-

риков, которые описывали его сражения и анализировали их результаты.

История грузинского народа состоит из сплошных баталий, весьма интересного и поучительного содержания. Она, однако, в военно-историческом плане нигде не описана. Военная история целого народа растворилась в общен историческом материале, в котором освещена слабо, без раскрытия сути специфики военного искусства. А если и присутствует в отдельных работах, то настолько слабо и непоучительно, что не остается в памяти. Отсутствуют требуемые схемные решения, анализ соотношения сил, способов боевых действий и форм организации армии. Мало того, военная история Грузии нигде не изучается.

В свое время были сделаны попытки создать памятник ратной славы нашего народа. В соборе, который стоял когда-то на проспекте Руставели, в картинах и фресках были отражены эпизоды военной славы Грузии. Но собор этот не сохранился, как и все его фрески, картины. В здании нынешней Картинной галереи некогда размещался военный музей. В нем также были сосредоточены ценнейшие материалы, полотна. От музея остались лишь путеводители. Уникальные экспонаты и реликвии утеряны...

В военной истории Грузии есть страницы, которые поднимают ее до уровня всемирной истории войн! Например: на протяжении долгих веков непрекращающихся сражений все войны велись с противником, превосходящим грузинское войско в десять, пятьдесят раз! Подавляющее численное превосходство противника стало исторической нормой ведения сражений. Перед каждым грузинским воином — от полководца до бойца — многовековая история ставила задачу вести войну с подавляюще превосходящим противником. Каждый воин-грузин обязан был убить десять, двадцать врагов, иначе он просто не имел права погибнуть. А это предъявляло жесткие требования к боевой подготовке каждого воина, к его личной физической закалке, сноровке. Он был обязан мастерски владеть оружием, конем, уметь вести разведку, избирать выгодную позицию в сложных условиях местности, оценивать обстановку, мгновенно принимать решение и дерзко, не считаясь с численностью врагов, наносить им сокрушительные удары. Все эти качества, переходя из поколения в поколение, вырабатывали особый тип воина, несомненно превосходящего по своим боевым качествам врага.

Именно такие профессиональные свойства грузинского воинства, воспетые и сохраняемые народом как самая великая традиция, выводят воина-грузина за национальные рамки на мировую арену, делая его достойным быть особо отмеченным военной историей мира. Вспомним, к примеру, Дидгорскую битву, подвиг 300 арагвинцев, походы Георгия Саакадзе, прошедшего боевой путь Александра Македонского и мамелюков. Этих похищенных в детском возрасте грузинских мальчиков, проданных в турецкое рабство, мамелюков, из которых турки формировали свою регулярную пехоту, наводившую в свое время страх на все армии мира...

Ираклий Иванович рассказывает о материалах, собранных им для создания истории военной славы грузинского народа. И еще — о своих изысканиях в области всемирной истории войн. О намерении создать совместно с грузинскими кинематографистами фильм о научных путях предотвращения войны в современной эпохе — фильм, в котором Ираклий Иванович предполагает раскрыть глубокие тайны стратегической обстановки, разоблачить все стороны современного милитаризма, его стремление к агрессивной глобальной стратегии завоевания мирового господства. И о других своих планах...

Ираклий Иванович рассказывает, и интерес к его рассказу не ослабевает ни на секунду. Речь генерала льется легко, плавно. Сказывается многолетняя привычка беседовать с большой аудиторией. О нем можно сказать, что он владеет магией простоты, о самых сложных и удивительных вещах профессор рассказывает ясно и доходчиво. Для слушателей академии каждая лекция генерал-лейтенанта И. И. Джорджадзе — это новые знания, обогащение, проникновение в глубины военной истории и тайны военной стратегии.

Сколько у него важных задумок! Верится: все задуманное он осуществит!

По моей просьбе Ираклий Иванович показывает свой докторский диплом. На нем цифра «2» — вторым по счету в Советском Союзе получил Ираклий Иванович звание доктора военных наук. Генерал Джорджадзе — первый и единственный грузин — начальник кафедры академии. Ученики профессора — генералы, офицеры, руководящие работники Советских Вооруженных Сил и армий других социалистических государств.

Заслуженный деятель науки РСФСР, доктор военных наук, профессор, генерал-лейтенант артиллерии Ираклий Иванович Джорджадзе — выдающийся военный ученый. На его мундире два ордена Красного Знамени, два ордена Отечественной войны I степени, два ордена Красной Звезды, ордена и медали иностранных государств.

Ираклий Иванович Джорджадзе — солдат, военачальник, ученый. Он из тех, кто всегда на переднем крае — и в бою, и в науке.

СОВЕТСКИЙ народ питает к венгерскому народу, как и к другим народам социалистических стран, чувство искренней братской дружбы.

Основы этой дружбы двух народов закладывались еще в годы гражданской войны, когда тысячи венгерских интернационалистов сражались за свободу и счастье молодой Советской республики, в славные дни существования Венгерской советской республики, ког-

да наша страна, сама задыхавшаяся в кольце фронтов контрреволюции и интервентов, подняла голос в ее защиту.

Дружба эта новыми границами засверкала в героическом сорок пятом, когда Советская Армия в ожесточенных боях освободила Венгрию от фашистского порабощения. Она закаляется в годы послевоенного тесного сотрудничества во всех сферах экономики, политики, идеологии, в сфе-

Александр КИРЮХИН

Десять дней

МАЛЕНЬКИЙ, в несколько жалких домишек венгерский хутор Будахази обезлюдел. Война разбросала его жителей по всему свету, стариков загнала в подполье. И Геца Оноди со своей семьей, поддавшись поначалу хортистской пропаганде и всеобщей суматохе, хотел перебраться куда-нибудь в западные районы, к дальним родственникам. Но вовремя одумался, да так и остался на хуторе.

«Зачем советским солдатам обижать меня, старого человека, и мою семью, — думал он нескончаемыми осенними вечерами. — Я ведь у Хорти не служил, к фашистской этой своре не примазывался». В таких мыслях, без сна проходили ночи.

Геца часто выходил во двор, обнесенный покосившимся плетнем, прикладывал ладонь к уху и долго прислушивался к орудийным залпам, глухо доносившимся с юга — оттуда шли советские войска. Мокрый осенний ветер трепал полы его поношенной куртки, гнал низкие тяжелые тучи над раскисшей

1935340
8732110333

ре совместного укрепления обороноспособности социалистических стран.

Венгерский народ свято чтит память советских воинов, отдавших свои жизни за его свободу, чтит своих соотечественников в, которые в годы войны чем могли помогали Советской Армии в ее титанической борьбе с гитлеровской Германией.

В эти дни, когда советские люди, трудящиеся братских стран социализма

торжественно отмечают 60-летие Вооруженных Сил СССР, в городах и селах Венгрии не зарастает тропа к памятникам, к братским могилам советских воинов. Отдавая дань любви и уважения освободителям, венгерские люди вспоминают каждый героический эпизод тех далеких незабываемых дней. Вспоминают и этот случай, о котором хочется рассказать читателям.

Рассказ-быль

того октября...

землей. А он все стоял и прислушивался к громухающему гулу войны, доносившемуся все явственнее с каждым днем, стоял до тех пор, пока в низких дверях не появлялась жена — Гезане:

— Иди в дом, пока немцы не появились. От них хорошего не жди. Иди, старый...

У соседнего хутора, что раскинулся неподалеку, может в полукилometре, разместилась в жидкой рошце фашистская зенитная батарея. Частенько она вела огонь по пролетающим самолетам, но стреляла как-то бестолково, точно сами артиллеристы понимали бесполезность своего огня. Почему батарея эта облюбовала себе место возле хутора, трудно было понять — важных объектов поблизости не обнаруживалось. Может, зенитчики прикрывали развилку дорог, что была за рошцей, — сказать трудно.

В часы загишья гитлеровцы появлялись на хуторе. Обозленные военными неудачами, они вымещали зло на оставшихся жителях — отбирали съестные припасы, ловили кур и

перосят, а то заходили в дома и, мародерствуя, уносили что поценнее...

Вернувшись в дом, Геза садился на тяжелую скамью и, прислушиваясь к тонкому дребезжанию маленьких подслеповатых оконце, начинал вспоминать годы первой мировой войны. Тогда он, молодой солдат австро-венгерской армии, наивно верил, что русский мужик (а его изображали в газетах только в виде лютого медведя) напал на его страну. В одном из боев Гезу контузило, и он без сознания попал в плен. Два года провел в России и убедился, что простой русский человек добродушен, работающ, что он так же, как и его земляки, страдает от притеснений капиталистов и помещиков и что не нужна ему никакая война.

Однажды утром Оноди, проведя тревожную бессонную ночь, вышел во двор. Ветер разогнал тучи, выглянуло желтое нежаркое солнце. Грустно полегли вымокшие необранные в этом году поля, на которые Геза не мог смотреть без боли в сердце, понятной каждому земледельцу.

Гул сражения еще больше приблизился, временами его раскаты сотрясали приземистый домик. И тут Оноди заметил, что дорога, проходящая мимо хутора, странно пустынна. А ведь по ней еще вчера вечером шныряли фашистские машины и мотоциклисты. Да и в роще не слышно лающих выстрелов батарей.

«Неужели удрали фашисты?» — подумал Геза, пока еще не веря в это. Слишком долго, несколько казавшихся бесконечными лет, они хозяйничали в бедной его Венгрии.

Но вот рокот, еле слышный вначале вдали, стал стремительно нарастать, шириться, и из-за поворота дороги с гулом вылетели невиданные в здешних местах танки: стройные, увертливые, с красными звездами на башнях. То были передовые отряды советских войск.

Оноди, решившись, подошел ближе к дороге. Русские танки проходили мимо, обдавая единственного жителя хутора запахами перегретого топлива и масла, бросая к его ногам ошметки густой осенней глины.

В люке одной из машин стоял человек в черном ребристом шлеме. На потемневшем, прокопченном его лице сыла белозубая улыбка. Он махал одинокому венгру рукой. И от этой приветливой улыбки танкиста, которая ясно говорила о веселом и простом нраве русского парня, Оноди стало легче на душе. Ясно — пришли освободители, а не захватчики. Захватчики так не улыбаются...

Из дома выбежали его сыновья — Геза и Ене — не усидели дома взаперти — и блестящими от любопытства и возбуждения глазами смотрели на пролетающие мимо «тридцатьчетверки»...

В тот суматсшный день мать еле загнала мужа и сыновей обедать. Перекусив наскоро, они снова выбежали к дороге, которая притягивала их как магнитом. Ждали, что теперь пойдут основные силы советских войск. Но дорога была пустынна и тиха.

— Где же твои русские, папа? — не вытерпел Ене.

— Не знаю, не знаю. — с тревогой отозвался старик Геца. — На войне всякое бывает: и окружения, и отступления и отходы...

И тут они увидели, что по шоссе за рощей понеслись немецкие грузовики, набитые солдатами, бронетранспортеры и танки с черными крестами на броне. Неужели и вправду русские отошли? Оноди было жалко, что они промелькнули как радостное видение и исчезли. Может, их и вовсе не было, а только показалось его больному воображению?

— Отец, — прервал его раздумья сын. — Послушай, что там?

Он прислушался. Из-за поворота грунтовой дороги доносился звук работающего мотора, неровный, словно чихающий, то и дело обрывающийся. Что бы это могло быть?

— Я схожу, посмотрю, — решительно сказал Геца сыновьям, — а вы тут оставайтесь. Не вздумайте за мной ходить.

И он пошел по дороге, увязая в густой грязи, то и дело оглядываясь на сыновей — как бы не потянулись за ним. А сам опасливо думал: «Кто там — немцы, русские? Почему они возле кукурузного поля остановились?» — и постепенно замедлял шаги.

Вот уже рядом стеной стоит кукуруза. Высокая, мощная в этом году уродилась она, словно густой лес. Хозяин так и не успел убрать урожай — не до того было этой осенью, — и вот теперь тяжелые влажные початки горестно склонялись к земле. Оноди зашел в кукурузу — надо же побережься на всякий случай, — раздвинул упругие стебли и ахнул. На дороге, там, где она вплотную прилегала к кукурузному полю, стоял советский танк. Точно такой, какие совсем недавно встречали Геца и его сыновья. Возле танка суетились люди. Мотор то начинал работать, выбрасывая облачки сизого дыма, то снова замолкал. И тогда солдаты что-то тревожно и негромко говорили, показывая в сторону шоссе: не немцы ли?

Вскоре подошли сыновья. В другое время им не поздоровилось бы за то, что ослушались отца и не остались ждать там, где он велел. Но тут он только махнул им рукой и, не таясь, сказал:

— Русские здесь. Их танк не в порядке...

Оноди еще несколько минут выглядывали из своего укрытия, потом осмелели и вышли на дорогу. Танкисты схватились было за оружие, но, увидев старика с сыновьями, успокоились.

Геца, напрягая память, стал подбирать те немногие русские слова, которые остались еще в памяти с первой империалистической.

— Зачем стоит? Боши там. — Он показал на пролегающее поодаль шоссе.

Чернявый танкист, видать, старший, горестно вздохнул:

— Мотор плохо работает. Исправить не можем. А наши ушли. Беда...

Потом командир танка (это был лейтенант Слесарев. Впрочем фамилии советских воинов Оноди узнал много лет спустя) решительно сказал своим бойцам:

— Разведать надо, как и что. Может, поблизости наши.

В разведку пойду сам. Да вот одежда у меня не совсем подходящая: сразу немцы засекут. — И он выразительным жестом показал на свое танкистское обмундирование.

Оноди сам понимал, что в таком наряде в разведку лучше не ходить. И тут же послал сына домой за какой-нибудь более подходящей одеждой. Вернулся парень быстро, принес сверток и кое-что из пищи — мать торопливо положила, узнав, в чем дело.

Слесарев переоделся и сразу стал похожим на сыновей Оноди, только постарше, пожалуй. Геца удовлетворенно оглядел его со всех сторон, похлопал по плечу:

— Теперь хорош. Настоящий мадьяр..

Через минуту Слесарев и увязавшийся за ним в качестве проводника Оноди-младший ушли в разведку, скрывшись в зарослях кукурузы. Геца в дом не пошел: побаивался, что жена напустится за то, что отпустил сына на опасное дело. Томительно долго тянулось время. О чем-то расспрашивали его танкисты, только ничего он не понимал.

Слесарев и сын Гезы вернулись огорченные. Лейтенант сразу же собрал танкистов в ложбинке возле дороги и хмуро сказал:

— Мы окружены. По дороге движутся немецкие танки. А у нас мотор неисправен и боеприпасов совсем нет. Что будем делать? Неужели оставить танк и пробираться к своим пешком порядком?..

Механик-водитель Михаил Аленин загорячился:

— Как это оставить? Машина по существу исправна, на ней еще фрицев будем бить. Только бы отремонтировать побыстрее...

Они еще о чем-то спорили — Оноди плохо понимал о чем. Но общий смысл разговора по голосам, по выражению лиц он все же уловил: надо танк отремонтировать и с боем пробираться к своим. Вот только где его укрыть? Это ведь такая машина!

Тут Оноди нерешительно вмешался в разговор:

— В кукурузу танк. Спрятать надо...

Видя недоумение русских, венгр ткнул пальцем в сторону кукурузы, потом для пущей убедительности раздвинул упругие стебли, исчез за ними, потом снова вынырнул, показав рукой — сюда надо прятать. Танкисты переглянулись, потом согласно закивали головами: дескать, поняли.

Механик-водитель ловко забрался в танк. Остальные замерли в тревожном ожидании, заведется ли двигатель? Двигатель завелся, чихая, проработал несколько минут и снова заглох. Но этого оказалось достаточно, чтобы Т-34 скатился с дороги и, подминая кукурузу, скрылся в ней по башню. Пушку опустили до предела вниз, и когда примятые стебли медленно выпрямились, даже с трех шагов нельзя было догадаться о существовании танка.

Но Слесарев и тогда не успокоился — он велел забросать следы гусениц травой, а сверху прикрыть боевую машину срезанными стеблями кукурузы. Придирчиво осмотрев сделанное, остался доволен: демаскирующих признаков не осталось.

Спалось в ту ночь старому Оноди плохо. Он то и дело вставал с лежанки, подходил к оконцу, напряженно всматривался в темноту, вслушивался в звуки ночи. Было тихо кругом, и даже пес молчал. В высоком небе, как и в далекие мирные дни, слабо мигали белые звезды, бледно освещивали туманности. И минутами казалось, что нет на земле войны и несчастья, что вся земля забылась долгим сном.

Геца кричал и снова думал и думал. Ведь если гитлеровцы дознаются, ему и его семье несдобровать: скоры они на жестокую расправу. Но ведь поступить по-другому нельзя! Не выдавать же этих славных парней, которые пришли освобождать его край от коричневой фашистской чумы. Решив так, он забылся сном.

Пробуждение было тревожным — младший сын Ене нетерпеливо толкал его в плечо, молча показывал на дверь. Оноди накинул куртку. Стараясь не разбудить мать, они вышли на крыльцо. Сыновья молча показывали отцу: по грунтовой дороге двигались немцы с катушками за плечами. Неподалеку от дома они свернули на целину и потянули кабель к рощице. На шоссе грохотали мотоциклисты. Чувствовалось, что возле хутора обносится гитлеровское подразделение.

В эти минуты Оноди даже не подумал, чем это грозит его семье, — одного очень боялся, что один из немецких мотоциклистов забредет в кукурузу и обнаружит советских танкистов. Он так боялся, что старался не смотреть в ту сторону, где прятались они.

Немецкий солдат, пожилой, уставший, весь заросший щетиной, остановился поблизости отдышаться. Сбросив катушку со спины на землю, он посмотрел на Оноди, трусовато оглянувшись, сделал гримасу и проговорил:

— Гитлер капут.

— Не знаю, господин. — уклончиво ответил Оноди.

Раньше фашистские солдаты такого не говорили. Видать, неважны у них дела...

Под вечер Оноди собрался навестить русских танкистов: как бы беды с ними не случилось. Жена его, что-то встревоженно нашептывая себе под нос, собрала узелок с хлебом, салом и куском сыра.

— Будь осторожен, — только и сказала она. За долгие годы совместной жизни она привыкла ни в чем не перечить мужу.

Поле и грунтовая дорога оказались пустынными. И все же Оноди, неторопливо переходя поле, ощущал огромное желание прибавить шагу и с трудом сдерживал себя. Ему все время казалось, что из кукурузы следят за ним чьи-то пристальные глаза.

Спустившись в лощину, Оноди услышал негромкий стук металла о металл. Значит, все в порядке — русские не сидят без дела, ремонтируют двигатель. По этому звуку он точно вошел в кукурузу и оказался на небольшой поляне, которую танкисты примяли за день.

Встретили его как своего: расспрашивали, что узнал о гитлеровцах, где они теперь, не наведывались ли в дом. Оноди отвечал, как мог, а то и разводил руками. Много ли он

мог узнать на своем дворе? А потом, наскоро съедя снедь из узелка, танкисты вновь принялись за дело.

Аленин, забираясь на танк, оглянулся на венгерские перепачканные руки:

— Инструмента не хватает.

Оноди сочувственно покачал головой.

— Будьте осторожны. Меньше стучите.

Прошли первые сутки, вторые, третьи... Неисправность в танке оказалась серьезной. Каждый вечер, когда старый Геза или один из его сыновей пробирались с провизией в кукурузные заросли, они видели хмурые, заросшие лица русских, которых угнетало собственное бессилие и чувство неизвестности: где свои, как к ним пробиться?

В тот день с самого утра в соседнем хуторе разгорелась стрельба. Грохотали пулеметные очереди, трещали автоматы. До слуха доносились квакающие разрывы мин, гулкие выстрелы орудий. Неподдалеку шел горячий бой. А во дворе у Оноди фашистские телефонисты кричали что-то в трубки, бегали чинить оборванные провода.

Жена Оноди выскользнула во двор, выглянула из-за угла в сторону кукурузного поля. И вдруг ахнула от неожиданности и страха — прямо к их дому шел русский танкист. Шел во весь рост, вероятно, не видя фашистской солдатни. Гезане буквально замерла от страха за русского (о себе в этот момент даже и не подумала) — ведь сейчас боши заметят и тогда... А в следующий момент она бросилась, путаясь в длинной юбке, к небольшой копне, выхватила клок соломы и принялась махать им над головой. «Неужели не заметит? Неужели ничем нельзя помочь?». Она едва не заплакала от отчаяния. Но нет, заметил, понял ее сигнал и камнем упал на землю, в похлупую траву.

Женщина, забыв, зачем выходила во двор, вернулась домой. У нее еще долго тряслись руки от страха...

А ночью Аленин (члены семьи Оноди называли его Мишкой) оправдывался перед Гезой-старшим:

— Спешил радостью поделиться: танк починили. Да и наши близко, совсем близко. Слышал стрельбу?

Да, советские войска были близко. С боями рвались они вперед, на Дебрецен, шаг за шагом освобождая венгерскую землю. И на другой день (это было на десятый день после первого прорыва) Оноди вновь увидел на проселочной дороге заляпанные глиной советские танки.

Он смело выскочил им навстречу, подняв руки. И когда разгоряченные машины, качнув длинными хоботами стволов, остановились, он сказал высунувшемуся из люка командиру:

— Там русский танк.

Он очень хорошо помнит, как сильные руки танкистов помогли ему забраться в люк, как задрожали и загрохотали стальные машины, сворачивая к стене кукурузы. И тогда Оноди напрягся старым телом и торжествующе закричал:

— Мишка! Русские пришли!

А из зарослей, подминая под себя ломкие стебли кукурузы, выползала целая и невредимая «тридцатьчетверка».



Выползла, чтобы продолжать свой боевой путь по дорогам Европы...

Сельский почтальон остановил свой велосипед у знакомой калитки возле беленького аккуратного домика с верандой, увитой виноградом, и громко позвал:

— Геза-бачи, вам письмо. Из Советского Союза.

На тропинке от дома появился глубокий старик в высокой меховой шапке, в кожаной куртке и мягких туфлях.

Жена всплеснула руками, взяла конверт и, как недавно Оноди, долго разглядывала незнакомый почерк.

Письмо было от Григория Васильевича Слесарева, того самого лейтенанта, командира танка. «Дорогой Геза, — писал он. — Очень обрадовался, когда узнал ваш адрес. С волнением думал о том времени, когда вы спасли наш экипаж. С большим интересом читаю в газетах о вашей стране. От чистого сердца радуюсь достижениям венгерского народа. Дорогой друг. Напишите мне, как вы живете, как здоровье».

Завязалась переписка.

В апреле 1970 года Венгерская Народная Республика торжественно и радостно отмечала 25-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Из Советского Союза на праздник к друзьям приехала большая группа ветеранов войны, участников освобождения Венгрии. После торжеств в столице гости разъехались по тем местам, где когда-то проходили с тяжелыми боями. Приехали они и в область Дебрецен, побывали в селе Шап.

Бодрый, будто сбросивший десяток-другой лет, Оноди водил гостей по памятным местам. Вот в этой ложбинке стояли заросли кукурузы, в которых укрыл он русскую «тридцатьчетверку».

Рассказывая о событиях тех дней, старик разволновался — да и как можно спокойно вспоминать о таком. Седые генералы слушали внимательно, склонив головы, сами, должно быть, захваченные воспоминаниями. А один из них со многими орденами на груди порывисто шагнул к венгру, обнял его.

— А я ведь тот самый офицер, что вел тогда колонну мимо вашего хутора. И экипаж Слесарева был в моем батальоне. Жаль, сам Слесарев не дожил до сегодняшнего дня.

Потом в семью Оноди пришло письмо с Урала от Михаила Аленина, того самого Мишки, который им так запомнился. Они не ведали, что в Советской стране узнали об их героическом поступке в годы войны.

...Немало лет прошло с той поры. Советский народ, правительство СССР сделали все, чтобы не был забыт подвиг венгерских патриотов-интернационалистов. Указом Президиума Верховного Совета СССР Геза Оноди был награжден орденом Отечественной войны I степени, а его жена Гезане — медалью «За боевые заслуги».

Достойные награды патриотам-интернационалистам!

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

ПРИ ПОСЕЩЕНИИ Франции Генеральным секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым парижский пролетариат встретил главу Советского государства восторженными словами благодарности. На многих транспарантах были написаны и такие волнующие слова: «Мы помним Сталинград...».

В Париже, как и во многих других городах Европы, есть площадь имени Сталинграда. Нужно ли особо объяснять, какое огромное интернациональное и международное значение имел разгром вражеских войск в гигантском Сталинградском сражении, память о котором никогда не угаснет в сердцах человечества? Слово «Сталинград» стало ярким символом того, что может быть обозначено лишь одним словом: Победа! Эта победа над врагом рождалась с первых дней войны, в бесчисленных боях с врагом. Боевое братство советских воинов всех национальностей принесло ее...

— С первых же дней вероломного вторжения фашистских полчищ в пределы Со-

ветской Родины Красная Армия наряду с героической защитой Отечества в тяжелых сражениях решала и важную задачу освобождения народов, оказавшихся под игом гитлеровцев. Интернационалистская (сущность освободительной миссии армии первого в мире социалистического государства сполна раскрылась при перенесении боевых действий за рубежи нашей Родины.

Хорошо помню весну сорок четвертого года. Войска Третьего Украинского фронта, очищая от врага земли правобережной Украины, овладели городами Николаев, Одесса, Тирасполь и с ходу форсировали реку Днестр. Наставал час освобождения Советской Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Великая битва за освобождение белорусской земли и братской Польши была еще в разгаре, когда в августе 1944 года началась знаменитая Яско-Кишиневская операция.

Наш 267-й гвардейский дивизион «катюш» в те дни поддерживал 16-ю бригаду 7-го механизированного кор-

пуса — подвижную группу Третьего Украинского фронта. Она была введена в прорыв 21 августа с Днестровского плацдарма. Основной целью группы был рейд в оперативной глубине неприятельских войск и соединение с подвижными частями Второго Украинского фронта...

Наш дивизион формировался еще в начале 1942 года в Москве. Его личный состав представлял собою монолитный коллектив коммунистов и комсомольцев — сынов многих национальностей. Основным костяком были закаленные в сражениях бойцы и командиры.

Никогда не забуду наших замечательных гвардейцев — разведчика Зимина и командира реактивной установки Гаврилова из Сибири, механиков-водителей Огаленова и Лазарева, связистов Легура и Конорева из Молдавии, начальника разведки Одинца и комсорга Юдина из Белоруссии, начальников штабов дивизионов Кустова — из Егорьевска и Ластовицкого — из Орла, командира батареи боевых установок Троегубова из Перми, заряжающего реактивной установки Велданова из Татарии, командиров дивизиона Войналовича и Дуброва с Украины, парторга дивизиона Усенко из города Сумы, москвича Исаева. Не забуду и моих земляков: наводчика реактивной установки Давида Долидзе и связиста Галустова из Тбилиси, заряжающего реактивной установки Шалву Гудадзе из Хашурского района...

...Удар войск Третьего Украинского фронта по врагу

с Днестровского плацдарма оказался таким мощным и стремительным, что боевые установки нашего дивизиона вместе с другими подвижными частями 23 августа вышли к переправам реки Прут на границе с Румынией. Двинулись и другие фронты. На повестку дня встало непосредственное освобождение всех народов Восточной Европы и Балканских стран. Вместе с русскими братьями, с сыновьями всех народов Страны Советов посланцы Грузии пронесли свои боевые знамена в освобожденные края.

В составе Белорусских фронтов под командованием наших прославленных полководцев Маршалов Советского Союза Г. К. Жукова и К. К. Рокоссовского Польщу освобождали войска, возглавляемые такими опытными и талантливыми военачальниками Советской Армии, как Владимир Джанджгава, Николоз Каладзе, Ермолос Коберидзе, Эстате Татанашвили и другие.

165-я стрелковая дивизия, которой командовал генерал Н. И. Каладзе, одной из первых пересекла советско-польскую границу. Тяжелые бои за освобождение города Седлец принесли батальонам дивизии неувядаемую славу. За успешное выполнение боевой задачи соединение было награждено орденом Красного Знамени и получило наименование «Седлецкого». Указом Президиума Верховного Совета СССР командир дивизии Николоз Иванович Каладзе был награжден орденом Суворова II степени.

В сражениях на земле братской Польши неоднократно отмечалась и дивизия генерала В. Н. Джанджгава. Его полки героически форсировали реки Нарев, Вислу, Одер, ломая упорное сопротивление противника, первыми преодолели водные преграды и заняли важные плацдармы. Все попытки врага сбросить отважных воинов были сорваны. В тяжелых боях командир дивизии всегда находился в самом огне, там, где решался успех боя. Владимиру Николаевичу Джанджгава было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

В числе войск Первого Белорусского фронта при овладении городом-крепостью Познань отличилась дивизия генерал-майора Ермолова Коберидзе. В ходе боев в Познани его солдаты пленили 23 тысячи солдат и офицеров противника во главе с комендантом фашистской крепости и его штабом, захватили большие трофеи. Дивизия генерала Е. Коберидзе получила почетное наименование «Познаньская».

В боях за освобождение Польши от гитлеровских фашистов на севере страны и предместьях Варшавы, на Висле и Одере отличилась и авиационная дивизия Эстате Татанашвили. За рубежом Родины бесстрашно сражались с врагом 2-я гвардейская армия генерал-полковника Порфирия Чанчибадзе, войска генералов Владимира Нанейшвили, Кирилла Джахуа, Ильи Размадзе, Николаоза Таварткиладзе, Георгия Джинчарадзе, тбилисцев Бориса Вла-

димирова и Владимира Лисинова, Наримана Далакишвили, Шалвы Меликшвили и других.

Вот некоторые имена грузин — героев боев тех дней:

Амиран Данелия, Елисе Тугуши, Гарри Мерквилладзе, Георгий Леладзе, Отар Чечелашвили, Тенгиз Джаридзе, Борис Пулукидзе, Иван Гвенцадзе, Давид Габридадзе, Константин Цуцкиридзе, Тина Джанелидзе, Александра Бернашвили, Иосиф Квернадзе, Шота Шурга, Георгий Джиджейшвили, Раиса Одикадзе, Акакий Коява...

В воздушных сражениях у Варшавы на Сандомирском плацдарме смертью храбрых пал прославленный летчик Герой Советского Союза гвардии подполковник Чичико Бенделиани. Отдали свою жизнь в боях с фашистами Шота Гогришвили, Шота Тибуа, Иван Баахия, Шота Чилингарашвили, Иван Кантария, Александр Бибилашвили и другие.

Яркой страницей немеркнувшей интернациональной помощи Советской Армии является освобождение Чехословакии от немецко-фашистских захватчиков. Войска Второго и Четвертого Украинских фронтов и действующий в их составе чехословацкий корпус в октябре 1944 года, громя гитлеровцев, овладели Дуклинским перевалом и вышли на словацкую землю. Над перевалом был водружен национальный флаг Чехословакии. Клемент Готвальд подчеркнул тогда, что на Дукле родился лозунг, прочно вошедший в чувства и созна-

ние чехословацкого народа: «С Советским Союзом на вечные времена!».

Одним из первых советских воинов, вступивших на государственную границу братской Чехословакии вместе с бойцами корпуса генерала Л. Свободы, был наш земляк капитан Георгий Николаевич Шавлухашвили. Бесстрашный офицер одного из подразделений 242-й горно-стрелковой дивизии генерала Кутузова дивизии генерала Лисина, он не раз отличался в боях за свободу Польши и Чехословакии, был награжден многими орденами и медалями. Уже майором Георгий Шавлухашвили участвовал в знаменитом параде Победы в Москве.

За свободу Чехословакии сражался и героически погиб отважный командир Советской Армии полковник Василий Гагуа. В этих освободительных боях отдали свою жизнь наши земляки Николоз Гогичайшвили, Отар Швангирадзе, Афанасий Зарнадзе, многие другие. С любовью хранят народы братских стран социализма память о героях, павших за их свободу и независимость. На священных могилах героев — всегда свежие цветы.

Но благоговейно чтут народы-братья имена не только павших в боях грузинских витязей. Учитель 67-й средней тбилисской школы Сергей Павлович Долидзе, участник освобождения Чехословакии и Венгрии, получил недавно трогательное письмо от историков университета города Брно. Не забыты его подвиги! А боевые побратимы из 276-й Темрюкской дважды Красно-

знаменной стрелковой дивизии Георгий Чаргвешвили и Георгий Паповян с радостью и любовью вспоминают ратные дела своих боевых друзей, отличившихся при освобождении чехословацкого герцога Кошице, — Х. Бежанидзе, Б. Тодрия, Е. Махатадзе, М. Цулискири, И. Грдзелишвили, Е. Челидзе.

В составе 52-й армии, освобождавшей Чехословакию, храбро сражались воины артиллерийской бригады полковника Шалвы Евстафьевича Цховребашвили. А неразлучным боевым спутником комбрига всегда был его сын Иосиф, ставший опытным разведчиком.

В рядах политических работников легендарной 18-й армии находился Дмитрий Александрович Джабуа. За свободу Чехословакии так же беззаветно бился с врагом Христофор Хомасуридзе, Екатерина Иорамашвили, Иосиф Чалаташвили, Акакий Гецадзе, Ираклий Кандарели, Варлам Басилая, Георгий Курашвили, Степан Завилейский, Нина Соколова.

Победоносное наступление нашей армии весной 1945 года сказало величайшее воздействие на подъем национально-освободительной борьбы чехословацкого народа. 5 мая в Праге и в других городах под руководством КПЧ началось вооруженное восстание против фашистских оккупантов. В отместку гитлеровцы решили разрушить прекрасные памятники культуры столицы Чехословакии. Но стремительный штурмовой бросок танкистов, ведомых генералами Д. Лелушен-

ко и Р. Рыбалко, предотвратил разрушение Праги. Советская помощь подоспела вовремя. Это был беспрецедентный в истории подвиг советских воинов.

Плечом к плечу с другими соединениями советских войск, героически дрались с врагом грузинские формирования. 276-я стрелковая Темрюкская дважды Краснознаменная дивизия вместе с другими частями Советской Армии изгоняла гитлеровцев из братских Польши и Чехословакии. Ее полки освободили от врага свыше 400 населенных пунктов. 394-я стрелковая грузинская Криворожская дивизия освобождала Румынию и Болгарию. Она зане-

сена в Книгу Вечной Славы Вооруженных Сил СССР.

В постановлении ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции» говорится: «В длительной, самой тяжелой из войн в истории нашей Родины советский народ совершил подвиг, равный которому еще не знало человечество. Он сумел не только отстаивать свободу и независимость, но и внес решающий вклад в дело спасения европейской и мировой цивилизации от уничтожения фашистскими варварами».

Грузинский народ, грузинский воин внес в это святое и правое дело свой большой вклад.



Саргис ЦАИШВИЛИ

Второе рождение памятника

В ИСТОРИИ древней грузинской прозы (имеется в виду литература до XII столетия), в основном духовной по своему содержанию, весьма значительное место занимает монументальное сочинение Георгия Мерчуле «Житие Григория Хандзтийского». Написано оно в середине десятого столетия (точнее в 950 — 951 гг.) и фактически воспроизводит жизнь Грузии VIII—X веков.

В центре этого повествования — реальная историческая личность — Григорий Хандзтели, с именем которого связаны многие радикальной значимости культурные факты исторической жизни грузинского народа (примечательно, что

сам Григорий дожил, как говорится, до библейского возраста: умер в 861 г., когда ему было 102 года). Что касается самого произведения, то написано оно спустя 90 лет после смерти Григория Хандзтийского по рассказам уже учеников и сподвижников Григория, с использованием также исторических источников, на что не раз указывает сам автор. В своем повествовании он не отклоняется от принципа так называемого «правдивого рассказа» — это полностью подтверждается научной критикой наших дней.

В памятнике отражена одна из острейших эпох в жизни грузинского народа, связанная с огромными историческими сдвигами на Ближнем Востоке, в част-

провинции, известные в ту пору как Тао-Кларджети. Эти южные форпосты Грузии первыми испытали на себе удары исторической судьбы. Достаточно вспомнить вторжение в 40-х годах VIII века орды арабского полководца Мурвана Глухого, свирепого и безжалостного сатрапа, обуреваемого стремлением расправиться с непокорными грузинскими княжествами (кстати, грузинский народ прозвал Мурвана «глухим» за его неопытную жестокость). К этому прибавились и стихийные бедствия — неурожай и страшная эпидемия холеры.

Край прекраснейшей природы, высокоразвитой культуры и сельского хозяйства фактически превратился в пустыню. Оставшиеся в живых скрывались в лесах и горах. Превратились в руины некогда развитые центры культуры и образования, церкви и монастыри. Неотъемлемой была заботливая рука и разумная политика, чтоб спасти страну от окончательного уничтожения.

Одним из инициаторов возрождения страны был Григорий Хандзтели, известный духовный деятель. Отправившись из Картли в Южную Грузию, он в тесном союзе с местными общественными деятелями начал великое культурное движение, которое фактически стало основной силой в социальном и политическом возрождении этого края.

Пожалуй, самым надежным фактором в борьбе с арабской экспансией — и это хорошо ведали передовые грузинские деятели — была христианская религия. По сравнению с на-

сильственно насаждаемым магометанством она была передовым идеологическим учением и содействовала выводу грузинского народа на орбиту мирового культурного движения — это полностью подтвердили дальнейшие исторические процессы. Вместе с тем (в этом конкретном случае), находясь в магометанском окружении, христианство вышло на роль сдерживающей дамбы и потому — функцию национальной идеологии.

Чтоб оценить заслугу Григория Хандзтели, достаточно вспомнить, что благодаря ему и его многочисленным ученикам в Грузии были возрождены замечательные монастырские памятники и центры образования, выстроены новые монастыри. Под непосредственным руководством самого Григория Хандзтели были возведены такие великолепные очаги культуры, как находящиеся ныне на территории Турции Шатберди и Хандзти (отсюда и прозвание Хандзтийский).

Это было культурное движение широкого масштаба, которое учитывало опыт тогдашних мировых христианских центров, в том числе существующих за границей грузинских монастырей. Человек широкого теологического и общего образования (это подчеркнуто в памятнике), Григорий Хандзтели обошел пешком и увидел своими глазами почти все христианские очаги, начиная от Иерусалима. Это, разумеется, помогло ему в деле организации национальных центров образования, в разработке прогрессивных форм правопорядка.

Потому-то и не было случайным, что в дальнейшем именно по принципам, заложенным школой Григория Хандзтели, пошло развитие многих замечательных литературных школ. В первую очередь возродилась уникальнейшая гимнографическая, теолого-философская литература и т. д.

Работая над вопросами литературы того времени, академик Н. Марр отмечал: «Грузины интересовались в области философии теми же вопросами, какие занимали передовые умы тогдашнего христианского мира как на Востоке, так и на Западе, с тем отличием от других, например, от европейцев, что тогда грузины отзывались раньше других на наиболее новые течения философской мысли и работали во всеоружии образцовой для своего времени текстуальной критики непосредственно над греческими подлинниками». Прямым результатом такого масштабного идеологического движения явилось возрождение в дальнейшем блестящей грузинской светской литературы (XII в.).

Разумеется, идеология всегда отражает социальное и политическое развитие страны. Потому нам вовсе не кажется случайным, что идея объединения Грузии родилась и стала осуществляться именно благодаря активным действиям представителей династии Багратиони, феодалов, пришедших к власти в Южной Грузии. Идея эта достигла апогея в эпоху Давида Строителя и царицы Тамар (XII в.).

Григория Хандзтели можно считать одним из пионе-

ров этого всестороннего движения.

Георгий Мерчуле являлся художественным летописцем высокого творческого таланта. Вооруженный широким историческим мировоззрением, он создал национальную летопись огромного масштаба. С точностью камертона чувствует Мерчуле отзвуки событий описываемой эпохи, каждый нюанс культурного или политического движения.

Писателем глубоко продумана роль христианской религии и, в частности, грузинской церкви в деле объединения разрозненных княжеств Грузии, и он первый облек эту великую мысль в следующие слова: «Грузнею считается обширная страна (именно вся та), в которой церковную службу совершают и все молитвы творят на грузинском языке, только «кре-(е) лейсонъ», что по-грузински значит «Господи, сотвори милость» или «Господи, помилуй нас», произносят по-гречески». В свое время эти слова приобрели значение политической формулы и были действенной силой в будущем объединении Грузии, что всячески поддерживала грузинская церковь.

Здесь следует отметить также, что Георгий Мерчуле глубоко сознавал силу централизованной власти в деле объединения, он всесторонне поддерживает стремление Багратиони к объединению страны. Потому-то не случайны его слова, обращенные к одному из Багратиони: «Властитель, нареченный сыном Давида, пророка и помазанника божья, Христос бог да даст тебе в наследие царствие свое». Уже в это время

подготавливалась легитимистическая идея династии будущих царей объединенной Грузии, по которой Багратионы считались потомками библейских царей (можно найти подобные параллели в легендах о династиях царей и других стран) и, таким образом, по идеологии того времени их власть носила характер реализованной закономерности.

В произведении Георгия Мерчуле заключены также уникальные сведения об истории грузинской церкви. Грузинская церковь не только боролась против магометанской экспансии, но и ратовала за независимость грузинской церкви от признанных мировых церковных центров. Из книги Мерчуле нам становится известно о том, что благодаря стараниям ученика Григория Хандзтели — Ефрема Великого был отменен закон о непреходящем ввозе миро из Иерусалима (в этом факте, кстати, выражался откровенный приоритет иерусалимского патриарха над грузинской церковью). «Что касается великого Ефрема, он много благ привлек в нашу страну. Прежде католикосы Востока миро привозили из Иерусалима, но Ефрем велением во Христе установил мироосвящение (мироварение) в Грузии по радостному распоряжению Иерусалимского патриарха и его свидетельству».

По заключению известного грузинского историка Ивана Джавахишвили, этой весьма значительной акцией (приблизительно в 843—859 гг.) «грузинская церковь обрела для того времени великую власть и преимущество».

В памятнике подняты

также проблемы и другого идеологического характера — отношение церкви к государству, взаимосвязи внутри самой церкви черного и белого монашества, право сосуществования духовной и светской литератур или же вопросы бытовой и христианской морали. И все эти вопросы разрешены с явно прогрессивной для своего времени точки зрения.

Безынтересен воочию созревший в это время в недрах самой церкви поток демократизма, по принципу которого выдвижение на должность не должно было зависеть от происхождения. Как известно, впоследствии Давид Строитель узаконил эти принципы в своих церковных реформах.

Вместе с тем, как это верно признано в грузинской историографии, «Житие Григория Хандзтели» — прекрасный исторический памятник, в котором дана широкая историческая панорама и заключено немало полезных сведений из политической и социальной действительности Грузии. Не говоря о более ранних эпохах, мы относительно мало знаем и о последующей эпохе, о которой нам сообщают лишь памятники чисто исторического характера. В познании этой эпохи также неопределима заслуга «Жития Григория Хандзтели».

Но прежде всего этот великолепный памятник прошлой эпохи интересен для нас как удивительный образец документальной художественной прозы. Всестороннее изучение его еще раз свидетельствует о лож-

ности бытовавшей некогда теории, будто бы средние века были лишь порой мрака. В связи с этим именно с методологической точки зрения можно вспомнить слова Фридриха Энгельса о том, что на средние века в ходе истории смотрели как на время застоя, вызванное тысячелетними нашествиями варваров, и никто не обращал внимания на новые шаги истории. В недрах самого христианства развивалась и крепла новая идеология, новая эстетика и высокие гуманистические идеалы, подготовившие в дальнейшем почву для качественно новых этапов в сфере как философской, так и художественного мышления.

Сочинение Георгия Мерчуле — один из уникальных образцов, по которому можно судить о высоком уровне художественного мышления в средние века. С типологической точки зрения, оно важно и для изучения мировой литературы аналогичного характера.

Интересы автора произведения значительно шире, нежели этого требует произведение духовного содержания историко-биографического жанра (или же «Жития святых»). Схема и шаблон остаются фактически в стороне, и внимание автора привлекают реальные люди и их взаимоотношения. Художественное чутье и вкус никогда не изменяют автору. Верные и убедительные краски находит он как для своих героев, так и для зарисовки исторических явлений. Не говоря уже о светских персонажах, действующих в романе духовные лица, и в первую очередь

сам главный герой Григорий Хандзтели, изображены настолько живыми художественными красками, что полностью исклочают так называемую «схему святых».

Казалось бы, в произведении духовного содержания не должно было быть и намека на особый интерес к жизни земной. Но, знакомясь с памятником, мы видим иную картину. Здесь мы встречаемся с такими глубоко эстетическими переживаниями природы и ее красот, что невольно убеждаемся в том, что никакой аскетизм не способен заглушить в человеке присущее ему чувство прекрасного.

И другие стороны жизни человека привлекают внимание Георгия Мерчуле. В ряде случаев писатель словно скован принципами христианского ригоризма, и все равно вне его интереса не остаются и интимные стороны жизни человека, в произведении мы встречаемся с глубоко впечатляющими эпизодами романтического характера. Удивительны по своей силе стремления Ашота куропалата к свободной любви, в окружении христианской морали, безусловно, обреченные на трагический конец. Слова Ашота куропалата «Блажен, кто уже мертв» выражают переживания человека, испытавшего трагедию любви.

«Житие Григория Хандзтели» обращает на себя внимание стилем повествования, выражающимся в мастерском слиянии книжности и фольклора. Уникален памятник также поэтикой

рассказа средневековья и предельно масштабным использованием художественного времени и пространства. Вот почему необходимо более глубокое его изучение с типологической точки зрения, что является неотложной задачей будущего.

В заключение несколько слов о самом памятнике и его авторе. «Житие Григория Хандзтели» принадлежит перу выдающегося писателя и гимнографа десятого века (до нас дошло не одно его гимнографическое сочинение) Георгия Мерчуле, а не Мерчули, как был он представлен в прежних публикациях (в том числе и в первой публикации Н. Марра). По словам известного грузинского ученого Павле Ингороква, «Мерчуле» не фамилия и не прозвание топонимического типа. Слово «сджули» (на древнегрузинском рчули, рджули) — это ученый или знаток канонического (в данном случае — духовного) правосудия и фактически указывает на профессию автора.

Небезынтересна история этого памятника. Единственная дошедшая до наших времен рукопись была об-

наружена в 1845 году в Иерусалиме путешествовавшим по Востоку известным грузинским ученым и лексикографом Нико Чубинашвили. Но в дальнейшем памятник этот все же считался утерянным.

Вторично его нашел в 1902 году и в 1911 году издал академик Нико Марр. Наряду со вступлением и комментариями он включил в текст также полный русский перевод. Можно сказать, что этим изданием Н. Марр открыл новую страницу в истории изучения грузинской культуры. Издание это примечательно и тем, что в конце его опубликован дневник путешествия Н. Марра по описанным в памятнике местам («Дневник поездки в Шавшетню и Кларджетню»).

Это издание представляет ныне собой библиографическую редкость. Потому-то редакция и печатает фрагмент из «Жития Григория Хандзтели» в переводе, выполненном Н. Марром, и отрывок из его труда.

Редакция считает, что этот уникальный памятник средневековья вполне заслуживает внимания современно-го читателя.

14P 05020
02 010033

*Сокровищница
грузинского народа*

Георгий МЕРЧУЛЕ


Ж И Т И Е

Григория Хандзтийского

Глава 12-я

И как телесно умножалось, так духовно росло число святых мужей. В самом деле прибыли в то время из Картли отец Епифаний и священник Матой и из Самцхии великий Зенон. Епифаний и Матой еще прежде были друзьями сего святого и в Хандзту пришли, привлеченные его именем.

Что же касается Зенона, он был сын некоего выдающегося человека в Самцхии, взрощен был в богочестии и вел себя свято, так как Божий страх пребывал в нем, и он желал постричься в монахи по обету братства постников. Скончавшись, родители оставили свое имущество Зенону и его сестре, жившей дома вместе с ним. Зенон раздумывал оставить стяжания отца и матери сестре в ее распоряжение и самому стать монахом на чужбине. Пока Зенон размышлял об этом, некий недобрый муж соблазнил его сестру при содействии диавола, и каждую ночь она уходила в Шавшию. Узнав об этом, он облачился один в доспехи,



сел на коня и погнался, но, проехав большое пространство, мысленно сказал: «я — именитый князь, а за кем я гонюсь, тот без всякой чести. Если я догоню его и убью, это будет соблазном для моей души, если же ни с чем вернусь домой к себе, это будет позором для меня. Нет, лучше я исполню сейчас перед Господом обет быть монахом». Блаженный вступил в ряды мучеников, так как отречение от стяжаний уподобляется пролитию собственной крови. Осенил он свою плоть крестом, направился по божественному пути и прибыл в Марию к матери Февронии, так как он происходил из ее дома. Божьею волею там находился отец Григорий. Мать Феврония вручила невинного агнца святому, пастырю доброму, который привел его сюда в Хандзту, поселил в месте златном Божьей милости и взростил на водах, где покоится святой Дух.


Глава 42-я

Но вспомним об упоминавшихся раньше принопамятных достойных Арсени и Ефреме, учениках-питомцах Григория: Богу угодно было сделать их архипастырями, каждого особой словесной паствы, это была Его воля. Великий Ефрем сделался епископом на ацкурской кафедре в Самцхии за много лет раньше Арсения; впоследствии же великий Арсений сделался католикосом Грузии в соборной церкви во Мцхете, местопребывании Христова хитона. Воспитанные вместе, они любили друг друга.

Между тем епископы Грузии были исполнены глубокого недовольства на Миреана, отца Арсения, так как без их ведома он насильственно поставил его при содействии самцхийского народа

(букв.—воинства) католикосом, в присутствии не многих епископов, которые совершили посвящение. Господь допустил возмущение епископов для некоторого обличения; к ним примкнул и блаженный Ефрем, так как возражение их было справедливо. Властитель того времени великий Гуарам, мампал, был зол на Миреана. Он поспешно велел собраться епископам и отцам пустынноикам, и собрались все в Джавахии, но отца Григория не было там, как не было вовсе и отцов игуменов пустынь Кларджии. Блаженный Григорий был архимандрит, и все страстно ожидали его. Вожди закона наедине совещались касательно Арсения, но не могли дать твердое решение. Тогда ерушский епископ того времени произнес во всеуслышание: «когда придет звезда пустынь, тогда дело и намерение всех правильно направится». Они спросили его: «про кого ты утверждаешь это?». Он ответил: «про архимандрита Григория, строителя Хандзты и Шатберда». Тогда какой-то епископ дерзко сказал среди собрания: «разве он один — светило?». Но все прочие сказали: «правду говорит, так как Григорий просвещает светом учительства и украшен святым Духом». Вдруг они увидели святого. Он ехал верхом на осле в собрание отцов при чудном видении: простая одежда на старце казалась облачением из ослепительно блестящего света, клобук на его голове красовался, точно царский венец, украшенный безценными благородными камнями и жемчугом. Видя прославление его Богом, все радостно пошли к нему навстречу и радостно стали следить за его словами.


В то время прибыл епископ Ефрем. Он приветствовал сначала своего учителя отца Григория, а затем братьев епископов. Блаженный Григорий тайно позвал блаженного Ефрема и сказал ему: «сын мой, заклинаю тебя честью твоего святого архиерейства, не мешай твоему духовному брату Арсению!». Тот ответил: «святой отец, отстаивая справедливость, нельзя препираться с моими братьями-епископами, да и прости меня, что отны-



не я не овца Арсения, и он не мой пастырь». Тот да святой сурово произнес: «если ты поступишь так, отрекись от меня, я не учитель тебе!». Блаженный Ефрем заплакал при этих словах духовного отца и учителя и сказал: «твое приказание — жестоко, оно режет острее меча; так да будет не моя, а твоя воля, Божий святой!». Он сказал: «вожделенный Ефрем, да услышит Христос, о чем бы ни просил Его ты, невинный сердцем и праведный умом, уподобившийся учителю своему Христу по слову Давида: «праведен Господь Бог наш, и нет в Нем неправды». Ты с твоей боговидящею душою знаешь, что Богом велено быть Арсению католикосом, так как он совершенен, но отец Миреан опорочил его несвоевременной поспешностью подобно тому, как Адам съел плод, который еще не был зрел. Хорошо ты сделал, послушав меня, ибо человек в гневе не творит Божьего правосудия, вина же Арсения да падет на меня».

После этого властитель Гуарам, услышав о прибытии блаженных, радостно вышел к ним навстречу и смиренно приветствовал их. Гуарам велел собраться всем лицам монашеского чина, и вот, когда они пришли и уселись, он сказал: «святые отцы, епископы и пустынники, вы все знаете, что правило закона не разрешает насилием сажать епископа и католикоса». В речи на эту тему он умножил порочащая слова и ждал их ответа, глаза же всех устремились на отца Григория и епископа Ефрема, но они некоторое время хранили молчание.


Епископы обратились к Ефрему со словами: «изволь ответить должное!». Он сказал: «где отец Григорий, там я не дерзаю говорить». Тогда властитель сказал блаженному Григорию: «отец, все ждут, чтобы ты сказал истину, так как ты и деньми и угождением Божьей воле старше всех, тебе подобает начать слово». Он ответил: «надлежало сначала архиереям высказаться, но по твоему слову я скажу так — истинная Христова паства, слушайте меня, убогаго старца! Католикос Арсе-



ний есть волею Божьею католикос, и злословящие его, если они не покаются, будут пристыжены и совершенно посрамлены в сем мире и в вечном». Властитель хотя был мудр и богочестив, однако правдивое обличение праведника сильно разстроило его, так что воля преодолела мудрость и мстительность не была внимательна к чести, поскольку жало его сердца открылось через уста, когда безчинно он дал себе волю сказать следующее: «с давних пор я не видел отца Григория, но я слышал, что мудрость его, необъятная для мудрецов, изменилась от старости, и теперь вижу собственными глазами, что я слышал раньше». И, будучи весьма искусным в речи, много говорил он и по части законов так, как не подобает мирянам (букв. — человеку из воинства).

Блаженный отец Григорий сказал ему: «о, властитель, почему гневаешься, когда говорят истину. Знай, что на соборе первых святых отцов с монахами, епископами и вождями закона были и верующие цари, но они не дерзали вместе с ними поучать закону, а спрашивали, как те изследуют закон, и просили открыть им это, так что от них учились заповедям Бога и были свидетелями их речений. В канонах, определенных святыми апостолами и преподобными иерархами и нет вовсе разрешения, чтобы мирянин дерзал поучать закону, который подлежит распоряжению отцов, епископов и законоучителей, или вводить новшества; это — пренебрежение к закону и иерархам, хотя бы предложения казались правильными. Что же касается меня, я, по твоему мнению, Гуарам, изменился в природе, но, когда правосудие разсудит тебя, увидишь, что ты лишился разума, и тогда не будешь осуждать моих слов».

Властитель смутился в душе и сказал епископам: «вам самим надлежит устраивать ваше дело, так — высказывайтесь!». Они сказали: «богочестивый Гуарам, Христово знамение лишило наш язык способности говорить, так как мы сегодня увидели на Григории непостижимую славу». И



они рассказали ему видение целиком, как они Ви-
дели, когда тот въезжал. Ужас объял властителя,
так как он был смиренный и богобоязненный: сми-
рение взяло в нем верх, и он, пав в ноги блажен-
ному Григорию, сказал: «Божий святой, прости
меня, что я ввел тебя в соблазн». Он же сказал:
«Христос да простит тебе все прегрешения!».

Тогда-то великий властитель Гуарам отлично
угостил всех. За трапезою, когда Гуарам развесе-
лился от вина, епископы единодушно говорили:
«это обличение нужно было для Арсения, но отны-
не Арсений да будет католикосом всей Грузии и
духовным отцом всех, да рассеется совершенно во
всех прежнее сомнение, чтобы мы в мире и спо-
койствии оказывали честь христианству и встре-
тили добрый привет у Христова трона». Власти-
тель Гуарам и весь народ сказали: «да будет
аминь!».

Между тем властитель спросил епископов:
«Божии святые, хорошо это или нет, если какой-
либо мирянин, знаток божественных книг и вла-
деющий также языками, сам от себя возьмется по-
учать непросвещенный народ, после того как он,
поехав в Иерусалим или в другие святые места,
увидит какой-либо хороший порядок, подобающий
христианству и отсутствующий среди нас, или не-
зависимо дойдет до этого своим умом на основа-
нии святых книг?». Говоря так, он намекал на не-
которых любителей многоречия.

Они ответили: «определенного груза достаточ-
но для лодки; если прибавить тяжести, она пойдет
ко дну, если облегчить, ее унесут волны и ветры». Точно так же прекрасен груз закона и правило христианства, которого теперь держится наша страна, и Бог доволен: мы ручаемся за это. Если кто твердо будет держаться и не изменит, будет на деле исполнять, а не торговать словом, «получит во сто крат здесь же, и наследует жизнь вечную» по слову Господа.

«Мы выслушали мнение, высказанное отцом Григорием раньше. Скажем следующее: если ми-

рянин откроет какой-либо новый хороший порядок, согласно твоему велению лучше молчать ему, как сказал апостол Иаков: «Братия, не многие делайтесь учителями!». Если он не может молчать, пусть не проповедует сам от себя, а сообщит своему епископу, который и преподает пастве, если это надлежит. Если опять мирянин дерзко и нагло внове постановляет для народа особая правила, таковой взамен приращения да будет осужден вместе со спорщиками и противниками, когда Господь прибудет во славе».

Властитель сказал: «воистину праведен ваш духовный суд о божественном порядке. Если надлежит спрашивать чтеца, еще более нужно спрашивать учителя правил и закона и всячески сдерживать себя, как сказано: «врач, сначала исцели самого себя!»».

Миряне были пристыжены, обличенные в том, что они сочиняли правила для невежд, и искали прощения у вождей закона. По окончании трапезы собравшиеся простились с великим начальником, и он радостно отпустил их всех. Тогда понесли радостную весть Арсению, так как его не было на соборе: «после Бога твой учитель отец Григорий утвердил тебя католикосом». Он радостно благодарил Христа и Его святого.

Епископ Ефрем возобновил прежнюю любовь к католикосу Арсению, следуя завету отца Григория; он усмирил быстро смуту, которая надолго могла затянуться, так как она была между католикосом и епископами, особенно же властителем Гуарамом. Вожделенные католикос Арсений и епископ Ефрем посещали своего учителя Григория. Католикос Арсений освятил старую церковь Хандзты и наваял радость на все церкви Грузии, ибо он вполне украсил патриарший престол и сам украсился благодатью. Когда отец Григорий преставился, Арсений присутствовал на его похоронах. Он был католикосом двадцать семь лет и затем, преставившись из этого мира, радостно явил-



ся ко Христу. У него благодать, чтобы помогать нам.

Глава 47-я

Однажды блаженный Епифаний пошел к великому Абуласаду во время жатвы просить провизии для Хандзты. Он сказал ему: «даю вам столько, сколько пожнут твои братья за день». Об этом же осведомил Абуласад жену, находившуюся в Гунатлии, а сам отправился в другую страну, Епифаний собрал у себя хороших жнецов из братии, прибыл с ними в Гунатлию согласно договору, и они, начав жать прекрасную ниву, с большим усердием жали до полудня. Какие-то злые люди сообщили своей госпоже, что они до вечера сожнут всю прекрасную пшеницу. Она обезпокоилась и послала человека сказать, чтобы перестали жать. Епифаний находился вдали от братьев, и они не послушались посланного. Она в гневе послала других людей, и те силою прогнали их с нивы. Тогда отец Епифаний смутился, что они не послушались человека, присланного в первый раз, так как он воистину был раб Христа и не хотел видеть ссоры. Потому он произнес: «Господи, прости твоей рабе такое пренебрежение к нам и на пользу ей позаботься наслать на нее немного испытаний, чтобы она выучилась не отвергать убогих». Тотчас злой дух поверг ее, так как дух благодати покинул ее из-за дерзости. Мгновенно уведомили Епифания. Пошел к ней он с братьею, и молились о ней от ~~в~~ всего сердца: она, крайне жалкая, вмиг исцелилась, так как дух благодати снова поселился в ней хранителем во веки, и перестала страдать. С тех пор она переменялась во благе и, при-

пав к Епифанию и его братии, отпустила их в радости, наделив большими богатствами.




Глава 55-я

Во дни святого властитель Ашот, куропалат, завладел многими странами. Он построил крепость Артанудж для проживания государыни, супруги своей. Она благополучно жила в ней в продолжение многих лет. Но враг соблазнил властителя: он привел в крепость распутную женщину, с которою грешил, так как демон любви очень разжигал его. У него раньше не было этого в праве, но его одолел злой грех. Услышав о таком деле, растлевавшем душу, блаженный Григорий сильно огорчился. Он сообщил святому Григорию, великому старцу, жившему в церквах¹; тот был чудотворец и пользовался уважением перед Богом и людьми и с его согласия лично стал обличать властителя. Тот дал слово оставить грех и отпустить женщину туда, откуда он ее привел, но властитель не имел силы остаться верным слову, так как был поработчен страстью.


Блаженный Григорий улучил время. В один прекрасный день, когда куропалат был в далекой стране, он отправился из Шатберда в Артанудж. Прибыв к вечеру под крепость, он послал к той женщине человека попросить еды и выставил какой-то предлог, почему остановился там. Она обрадовалась великою радостью и выдала разнообразные яства для святого и его учеников. Как только разсвело, он вторично отправил к ней человека, прося повидать его. Еще более обрадо-

¹ По-видимому, в церквах грузинского Синая.




ванная, она тогда пришла живо к святому, в сопровождении двух служанок, чтобы сподобиться благословения блаженного мужа крестным знаменем. Однако он не осенил ее крестом: ей велел сесть поодаль, а ученики отошли в сторону по мановению глаз учителя, также служанки, ибо страх перед святым был наваян на всех. Тогда блаженный Григорий сказал ей: «о, жалкая! Почему ты вторглась между мужем и женою, готовишь себе вечную гибель злым грехом, поработившим тебя диаволу, и попусту стала соблазном для великаго властителя?». Она со слезами сказала: «святой Бога, я не вольна над собою, так как куропалат питает ко мне чрезмерную любовь, и не знаю теперь, что мне делать: меня очень смутило то, что ты изволил сказать». Святой сказал: «дитя, покорись вполне словам моим, словам убогаго, и я ручаюсь тебе перед Христом, что Он Сам простит все твои прегрешения». Она сказала: «святой отец, я в твоих руках — пекись о пользе моей души!». Тогда только он осенил ее крестом, благословил молитвами, вооружил благодатью и дал ей ремень от своих сандалий, чтобы опоясалась им, и она так и сделала. Святой сказал ей: «дитя мое, сегодня спасение твоей души, поведу тебя к вожделенной матери Февронии». Она очень обрадовалась. Блаженный Григорий велел служанкам уйти к себе обратно в крепость, а женщине молвил: «дитя мое, пустись в путь — иди перед нами!». Так привел он ее в Марию, так как заранее было дано согласие блаженной матери, и поручил ей со словами: «заботься о ней, должным образом заботься о ней и тогда, когда куропалат начнет разыскивать ее. Ты видишь, как сокрушено ее сердце!». Она сказала: «Христос во благе да печется о рабе Своей, которую Он обрел через тебя, подобный отец».

Долго еще беседовали вместе блаженные (такой установился обычай у отцов настоятелей того времени, что без одобрения матери Февронии они не брались ни за какое дело). Какая-то сестра



прошла мимо их и успела услышать один вопрос, она не решилась слушать еще дальше: «что тебе сказать, ангел?» спрашивал святой Григорий блаженную Февронию. Бог был среди них воистину.

Между тем куропалат, явившись в крепость, справился о женщине. Так как не нашел ее, то очень огорчился, поняв все происшедшее. Влюбленный в нее не по какому-либо ухищрению человеческих козней, а по проискам демона властитель был настолько поработан, что забыл самоуважение и поспешно явился в Мерию. Блаженная Феврония скрыла женщину. Помолившись в церкви святой Богородицы и получив благословение от матери Февронии, куропалат повел с нею беседу: «знаешь ли, мать, почему я теперь прибыл сюда?» «Господь знает», сказала она, «почему ты пожаловал сюда». «Я прибыл сюда потому», сказал он, «что отец Григорий, оказывается, повел сюда женщину, ключницу нашего дома; в ее руках находилось все наше имущество, и у нас оказался большой недочет в сокровищах. Так вели ей явиться раз в крепость; она передаст нам все по счету, а потом пусть возвращается опять к вам, как того желает!». Феврония резко ответила ему: «не уклоняй сердца моего к злым помышлениям, к возбуждению причин греховных с людьми, творящими беззаконие». Услышав это, куропалат, смущенный правильным обличением, устыдился и долго молчал, как сраженный: телесно могущественного властителя победили духовно сильные люди, вооруженные божественною ревностью. Огорченный куропалат наконец произнес в сердечной тоске: «блажен человек, который уже не в живых!». Он быстро встал, чтобы уйти. Тогда блаженная Феврония, кроткая душою, остановила было его, чтобы угостить, но он не покорился, так как собственный разум был у него обличителем, как только он уразумел свой позор с удалением желания плотской страсти. В душе радовался он тому, что мудрость обратила в бегство вредное малодушие, и восхвалял победу святых, еще более — Бога, да-



рующего победы, и радостный ушел, так как ни-
тал чистым сердцем уважение к блаженным, как
венчавшим его душу на веки.

Глава 56-я

Еще большему искушению подверг враг человеческого рода властителя Адарнерсея, сына куропалата Ашота: по наущению блудницы, с которою прелюбодействовал, без суда, по блудливой лжи, он удалил от себя верную жену и отправил в Абхазию, ея родину, откуда он ее привез. Христос открыл Своему рабу Григорию всю несправедливость, которой подвергли невинную государыню. Григорий многократно обращался к Адарнерсею с обличением, но властитель, поддавшись пустому своеволию, не внимал обличению праведника; более того, он к злу прибавил зло: взял вторую жену. Тогда отец Григорий пророчествовал о том, что должен был допустить Бог — какие прегрешения должны были постигнуть его по Божьей воле. Он сказал следующее: «за послушание меня, убогаго, ты будешь предан лютой болезни, а сыновья, какие у тебя сейчас, будут одержимы дьяволами, и не исцелитесь ни ты, ни твои дети, пока не получите прощения от государыни, без суда наказанной рабы Божьей. Если же она к тому времени успеет разстаться с плотью, дети твои получат прощения от ея могилы, а блудницу, наущившую, за похотливую наглость и злобу да опозорит Христос более всех грешниц!». Адарнерсей, сильно уstraшенный словами блаженнаго Григория, бросился в ноги ему. Тот поднял его со словами: «Христос да дарует тебе прощение твоих прегрешений, однако да будет тебе известно, что

сказанное мною исполнится в свое время, чтобы все поняли, какой плод приносит неповиновение». Спустя немного времени Адарнерсея постигла болезнь ломоты, колотье, которое называется подагрой. Он жестоко мучился от боли, так как до тех пор не страдал ничем. Живо отправил он хорошего человека, по имени Купру, к государыне просить у нея прощения. Достигнув Персати, где теперь находится ее могила, посланец Адарнерсея застал свою государыню, дочь властителя Баграта Шароели, в великом монастыре: облачением ее служила простая ряса; одетая в священную схиму, вожделенная, прежде называвшаяся Бюрилою, потом Анастасиею, несла домой громадный выюк дров, взвалив его на себя. Она совершенно осрамила дьявола, и теперь верующие обретают исцеление по ее милости, унося от ее могилы землю в качестве евлогии. Увидев ее в подвиге, посланец узнал ее и бросился ей в ноги за Адарнерсея со словами: «тебя, о, творящая волю Христа, молит господин мой помиловать его, справедливо наказанного из-за тебя Богом, не проклинать, более того — простить великую его вину». Она сказала: «клянусь Христом, проклятие никогда не исходило из моих уст, и его я также не предавала проклятию. Христос да простит ему все грехи и исцелит его душу и тело». И мгновенно исцелился Адарнерсей: посланец запомнил час, когда она благословила его господина, и по возвращении нашел его без всякого недомогания и радостно воздал благодарение Христу. Немного лет спустя, детей, бывших у властителя Адарнерсея, куропалата Гургена и Сумбата, сильно стал истязать дьявол, и он немедленно отправил их в нищенском одеянии и с достойными властителей пожертвованиями в Персать помолиться на могиле вожделенной государыни, уже преставившейся. Помолившись, они совершенно исцелились согласно тому, что говорил блаженный Григорий, ушли домой радостные и славили Христа, Бога всех.

Что касается наушницы, она стала одержима лютым бесом и взбесилась, да и другия еще истязания постигли ее за злыя дела. Страшно и ужасно было видеть ее и слышать ея речи. Как только разумок вернулся к ней, жалкая пошла к матери Февронии и, бросившись ей в ноги со слезами, исповедалась во всех прегрешениях и молила ее с плачем ходатайствовать за нее перед отцом Григорием. Она написала ему просительное письмо. Блаженный не внял, наоборот, сообщил ей: «жесточайшия испытания будут насланы на нее за то, что она сделалась соблазном для богочестиваго властителя и разлучила его с верною женою, обезславив ее как блудницу, да еще пролила кровь невиннаго юноши. Ныне да воздастся ей до смерти и соответственно недостойным ея делам». Блаженная Феврония сказала: «истинен суд отца Григория!». Она не прибегла к насилию над святым, следуя слову апостола: «духи пророческие, будьте послушны пророкам!». Она, как подобало, утешила безнадежную, так как была полна мудрости обеих жизней, и от нея и от некоторых ея учениц являлись великия знамения, и ныне их могилы производят исцеление молящимся с верою. Женица же та осталась до смерти в Мери: хотя она испытывала лютые истязания, но ум сохраняла живою. Когда она умерла, мать Феврония велела похоронить ее близ сестер, творивших волю Христа, чтобы ее, тяжко повинную, оправдали перед Христом невинныя.

Такия-то чудеса творил Христос через блаженнаго Григория. Немощные, во власти всякаго рода болезней, и страдавшие от нечистых духов, исцелялись святыми молитвами и его и слезами сообразно с тем, как молящие просили с верою.

На него смотрели как на гавань не только люди, но и звери полей. Так некогда блаженный находился по какому-то делу на одной из гор

Шатберда, и с ним были также его братья. На виду их вышел олень: охотники окружили его, и никуда не мог он спастись от их рук. Тогда олень направился к монахам, пройдя среди всех их, точно одаренный разумом, подошел к блаженному Григорию, положил голову на руки святого и как бы оплакивал постигшее его несчастье. Он же в утешение ему сказал: «во имя Христа не могут эти враги твои повредить тебе, не бойся!». Увидев это, те люди удивились и славили Бога, пришли к святому и дали себя осенить крестом. Святой же, благословив их, вместо оленя дал им иное питание для тела, и они ушли, а оленя он отпустил с миром.

* * *

Также случилось в Хандзте, когда он находился в келье. Охотники толпою окружили четырех диких коз близ монастыря, а те вбежали в келью, где сидел отец Григорий, и обступили святого. Он понял причину их появления и приободрил их, а охотников велел угостить и отправить в путь. Затем он накормил дичь и отпустил с миром.



Гурам АСАТИАНИ

ВЕРОЯТНО, мне как представителю своего народа следует начинать на этом юбилее с упоминания о той поре жизни Антона Хансена Таммсааре, когда он, покинув — единственный раз! — пределы родной земли, побывал в наших краях. Поддавшись искушению символизации, можно было также усмотреть особый смысл в том, что тяжело заболевший писатель нашел исцеление именно на нашей земле.

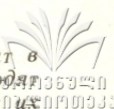
Случилось это на заре его большой творческой биографии, на пороге изумительных свершений, потребовавших много времени и сил, постоянной бодрости духа...

Мы были бы счастливы от мысли, что небо и земля Грузии хотя бы на один день продлили жизнь великого эстонца.

Чувство, которым я хочу поделиться с вами, навеяно одним образом Таммсааре: распустившиеся весной цветы умоляют мальчика сорвать их... Чем-то очень знакомым, родным обдало меня, когда впервые я прочитал эти

Наследие великого эстонца

Из выступления на торжественном юбилейном собрании в Таллине 30 января с. г.



строки. Ведь такое мне довелось слышать еще в детстве. В поэме Важа Пшавела отяжелевшие колосья обращаются с мольбой к мудрому ребенку, познавшему язык природы, — скорее косите их.

Все это идет от народа, от самых глубоких национальных истоков литературы, от корней.

А эти корни там, в глубине, образуют неведомые еще нам сплетения...

Одна из великих радостей, которые несет людям искусство, заключается в радости узнавания. Я хочу сказать о конкретном аспекте этого феномена, потому что он особенно важен для нас — представителей многонациональной советской литературы. Я говорю о том роде эстетического наслаждения, когда в иноязычном творении литературы, в иной, незнакомой тебе действительности, в ее неповторимом своеобразии постепенно угадываешь свое, родное, близкое. Когда сквозь колорит просвечивает сущность, еще и еще раз убеждая нас в том, как она богата, в какие разные, удивительные формы может претвориться.

Антон Хансен Таммсааре принадлежит к числу самых глубоких, беспощадно правдивых и вместе с тем веселых, радушных, чуть-чуть лукавых даже, гениев человечества. Дар его глубоко национален и вместе с тем всечеловечен, потому что патриотизм, в высочайшей степени присущий этому дару, не потребительский, а творческий. Как истинный художник, он не только сын своего народа, не только наследник его жизненных ценностей, но и творец его истинного духовного бытия. И Эсто-

ния — эстонский дух и быт в сознание человечества входят в первую очередь так, как их нарисовал автор «Правды и Справедливости».

Ныне здравствующий грузинский писатель Демна Шенгелая, который лишь на два десятилетия младше него, как-то в беседе со мной воодушевленно говорил о том, как начинался XX век в литературе, вообще в мировой культуре, какие крупные личности появились в самом начале новой эпохи, какой размах сопровождал их замыслам.

Антон Хансен Таммсааре, вступивший в XX столетие двадцатидвухлетним юношей, — одна из таких великих фигур, определивших лицо человеческой культуры нашего времени, придавших ей свой эпохальный облик. Все, что сделано им, отмечено метой масштабности.

Наверное, подвиг Таммсааре-эпика, его титанические усилия, проторенная им тропа предопределили, в частности, тот неопровержимый факт, что Эстония имеет ныне блестящую художественную прозу — целое созвездие выдающихся мастеров, привлекающих самый живой интерес не только в Советском Союзе, но, фактически, во всем современном культурном мире. Я имею в виду успехи последнего времени, которые достигнуты представителями нескольких поколений — поколением и Куусберга, и Кросса, и Ветемаа...

Яан Кросс в своем очерке о родоначальнике эстонского романа пишет: «Никто в эстонской литературе впереди Таммсааре не стоит».

Мне понравилось, как это сказано, и, перепразируя Крос-

са, хочу со своей стороны заметить: никто в настоящее время в многонациональной советской литературе не стоит впереди эстонских прозаиков. Потому что по мастерству, по насыщенности и культуре письма все сделанное ими соответствует уровню лучших достижений сегодняшней советской прозы, которую двигают вперед талантливейшие мастера разных национальностей.

Антон Хансен Таммсааре — художник редкой судьбы. Несмотря на его абсолютное равнодушие к славе, внешним почестям, шумихе вокруг его имени (писатель дважды отказывался присутствовать на собственном юбилее — и в 28-м, и в 38-м году!), его образ был облюбован родным народом еще при жизни.

Простые крестьяне в родном селе Таммсааре за несколько лет до кончины писателя воздвигли ему памятник.

Я хочу сказать о героизме художника, мыслителя, гражданина. Недавно грузинскому читателю была предоставлена

возможность на родном языке прочитать известный его рассказ о певце и боге.

...Поэт просит творца пустить его не в рай, а в ад, к страждущим душам.

Антон Хансен Таммсааре прошел вместе со своим народом через все сферы великого Чистилища времени. Именно здесь, в этом огненном лоне, сложился он как мастер и провидец, здесь же обрел бессмертие. С его известных фотоснимков смотрят спокойные, чистые глаза, свидетельствующие о внутренней гармонии и добром нраве. Но за этим спокойным взором угадываются и большие, жгучие страсти, настоящие терзания открытого миру сердца. В нем и надежда — выстраданная вера в будущее своего народа.

Наступивший 1978 год наречен в Эстонии его именем. Пусть он будет одним из самых ярких в жизни страны Таммсааре, одним из самых содержательных для достойных его наследников — писателей Советской Эстонии...



Дмитрий ТУХАРЕЛИ,
Нодар ПОРАКИШВИЛИ

КНИГА ОБ ИНТЕРНАЦИОНА- ЛИЗМЕ В ДЕЙСТВИИ

БОЛЬШОМУ украинскому поэту принадлежит крылатая фраза, ставшая ныне крылатой: «чувство семьи единой». Ею он охарактеризовал взаимоотношения литератур народов СССР. Она действительно удивительно емко выразила их суть. Вынеся в заглавие своей книги этот афоризм, ее авторы — доктора филологических наук И. Богомоллов и Р. Миминошвили уже придали ей конкретную определенность, указали на общий тон и направленность (изд. «Мерани», Тб., 1977). Поэтому вполне закономерным представляется принцип оглавления всех 16 научно-популярных очерков, составляющих книгу, подобными же афоризмами раз-

личных советских писателей, отражающими самую сущность взаимосвязей их литератур с грузинской. Так, если первый из очерков — «Нерасторжимый союз братских сердец» повествует о многообразных взаимосвязях грузинской литературы с русской, то второй — «Чувство семьи единой» — о многочисленных фактах грузино-украинских литературных взаимоотношений, а третий — «Близкая даль» — содержит краткий обзор связей грузинской советской литературы с литературой Белоруссии и т. д. Заглавия всех очерков образно характеризуют взаимосвязи литератур.

Разумеется, появление такой книги к 60-летию Великого Октября в нашей республике вполне закономерно. Ведь Грузия — одна из самых разнородных республик. За последние годы тут проводится большая и плодотворная работа по интернациональному воспитанию трудящихся. Достаточно назвать создание здесь Музея дружбы народов, Главной редакционной коллегии по делам художественного перевода и литературных взаимосвязей при Союзе писателей Грузии, кафедры литературных взаимосвязей народов СССР и художественного перевода в Тбилисском государственном университете, театра «Дружба» и другие факты, ставшие новым этапом интернационального воспитания трудящихся. Если добавить еще исследования, которые ведутся по этой проблематике на протяжении многих лет отделами взаимосвязей грузинской литературы с литературами народов СССР и мира Института истории грузинской литературы имени Ш. Руставели АН ГССР, то станет ясным, что для такого качественно нового скачка в Грузии имелись предпосылки, что многое уже было сделано для научного осмысления литературных, культурных и общественных взаимосвязей народов нашей страны. Поэтому книгу И. Богомолова и Р. Миминошвили следует считать закономерным явлением. Она подготовлена всем ходом развития науки, культуры и духовной жизни грузинского народа. Весьма символично и то обстоятельство, что написана

она русским и грузином. Это ли не одна из тех случайностей, в которых наглядно проявляется закономерность и типичность?

Книга эта примечательна еще и тем, что в ней собран, систематизирован и проанализирован большой литературный, эпистолярный, мемуарный и историко-культурный материал. Правда, главное здесь — данные о взаимоотношениях грузинской литературы с литературами всех союзных республик и многих народностей СССР. Однако и сведения о других сторонах культурной жизни республик весьма поучительны.

Прочитав книгу Р. Миминошвили и И. Богомолова, мы пришли к выводу, что она имеет большое познавательное значение. До сих пор наука располагала более или менее обширными данными о грузино-украинских, грузино-белорусских, грузино-армянских и грузино-азербайджанских взаимоотношениях; значительно больше знала о русско-грузинских и грузино-русских взаимосвязях. Что же касается литературных взаимоотношений Грузии с другими народами СССР, то о них мы знали крайне мало. Вне всякого сомнения, специалисты будут обращаться теперь к книге «Чувство семьи единой» как к начальной стадии научных изысканий в данной области.

При всей разнородности и неравноценности фактического материала прослеживаются определенные закономерности в систематизации приведенных авторами данных. Наиболее ха-



рактен для всей книги первый очерк — «Нерасторжимый союз братских сердец», посвященный взаимосвязям грузинской и русской литературы. Вслед за историческим экскурсом (об исторических и литературных связях Грузии и России в XI — XII вв.; с 1801 г. — новый этап в содружестве двух народов и т. д.) следует четким подобранный материал, свидетельствующий о том, что еще до Великого Октября лучшие представители двух братских народов испытывали по отношению друг к другу поистине светлые чувства дружбы и братства. Речь идет о двустороннем процессе: присоединение Грузии к России имело большое значение для грузинской культуры, но, как подчеркивал Белинский, «Кавказу как будто суждено было быть колыбелью наших поэтических талантов... поэтической их родиной».

После победы Великой Октябрьской социалистической революции, когда все препятствия на пути единения братских народов были сокрушены, они навеки соединились в единое государство. Продолжая лучшие традиции своих славных предшественников, грузинские и русские писатели создали свои, советские традиции, основоположниками которых были М. Горький и В. Маяковский. Известно, что В. Маяковский родился и учился в Грузии, много раз приезжал в нашу республику, считал ее своей родной землей, посвятил Грузии ряд произведений. М. Горький тоже начал свою литературную деятель-

ность в Грузии, был многообразно связан с нашей публикой. Однако не только эти ксрифен, но и их славные соратники сказали замечательное воздействие на зарождение и развитие грузинской советской литературы.

В книге кратко повествуется о том, что начало творчества многих выдающихся русских советских писателей было тесно связано с Грузией. Приводятся основные данные о контактах с нашей республикой Д. Фурманова, П. Павленко, К. Паустовского, И. Бабеля, А. Белого, В. Брюсова, Л. Сейфуллиной, Б. Пастернака, О. Мандельштама и многих других. Особо говорится о грузинских связях С. Есенина. Таким образом, уже в первые годы Советской власти установились прочные отношения между русскими и грузинскими поэтами, началось планомерное сотрудничество русской и грузинской литератур. Так, в 1933 году в ходе подготовки к Первому съезду писателей в Грузию приехала писательская бригада, участники которой в дальнейшем сказались в самой гуще литературных связей, сыграли большую роль в их дальнейшем упрочении.

Авторы уделяют большое внимание переводческой деятельности таких русских писателей, как Н. Тихонов, Б. Пастернак, П. Антокольский, Н. Заболоцкий и другие, которые явились создателями советской школы перевода. Их деятельность имела большое значение для упрочения связей двух братских литератур. В даль-

нейшем начатое ими дело продолжили М. Луконин, А. Межиров, Е. Евтушенко, Б. Ахмадулина, С. Куняев, Е. Николаевская и другие. Они «познакомили мир с поэзией малочисленного народа, который в условиях постоянной борьбы за независимость сумел создать духовные ценности общечеловеческого значения» (Б. Жгенти).

После Первого съезда писателей грузинская тема, занимавшая важное место в русской классической литературе, полнокровно входит и в русскую советскую духовную культуру. Великолепные циклы произведений, посвященные нашей республике, создали Б. Пастернак, Н. Заболоцкий, П. Антокольский, Б. Лившиц и другие. Всю жизнь воспевает нашу республику Н. Тихонов. Грузия, воспринятая на редкость индивидуально художническим взором поэтов и преломленная в своеобразном мире их мыслей и чувств, обогатила советскую поэзию. Таким образом, за 60 лет существования Советской власти дружба, связывающая русскую и грузинскую литературы, достигла новых высот. Сейчас духовное богатство обоих народов стало всеобщим достоянием.

Далее авторы анализируют отношение к Грузии таких выдающихся русских писателей, как А. Фадеев, А. Толстой, Н. Тихонов и другие, приводят материалы, ярко свидетельствующие о том, с каким уважением относятся русские люди к духовным богатствам грузинского народа. Это уважение проявилось, в частности,

во время руставелинских торжеств в 1966 году в Москве. С другой стороны, и грузинский народ уважает и знает культурные ценности русского народа. Во время Дней Москвы в Грузии и Дней Грузии в Москве в мае — июне 1967 года особенно ярко проявилась эта дружба, вылившаяся в подлинный праздник братства двух народов.

Определенное место в книге уделяется тем русским писателям, в творчестве которых почетное место заняла грузинская тема (К. Бальмонт, М. Кольцов, Н. Асеев, Ю. Тынянов, В. Гольцев, О. Форш, А. Антоновская, Л. Леонов, И. Новиков, А. Жаров, В. Инбер, М. Алигер, В. Ажаев, С. Кирсанов, В. Звягинцева, И. Андроников, Е. Николаевская, В. Солоухин, И. Снегова и многие другие). Особо говорится о взаимосвязях с грузинской действительностью трех выдающихся русских писателей — Н. Тихонова, К. Симонова и М. Шолохова.

Русско - грузинские литературные взаимоотношения продолжают шириться и развиваться, вбирая в свою орбиту все новые и новые поколения. Как сказал известный грузинский критик Г. Маргвелашвили, «Грузия взяла полную дань с музы каждого пришедшего к ней с открытой душой и чистым сердцем поэта». Далее говорится о писателях, живущих в Грузии и пишущих на русском языке, — Э. Фейтине; М. Лохвицком, А. Зурабове, М. Златкине, А. Левите, Г. Бебутове и других. Этот отряд литераторов, помимо всего прочего, активно про-



пагандирует грузинскую литературу, переводит произведения грузинских писателей. Так, прекрасные плоды принесло творческое сотрудничество К. Лордкипанидзе и Э. Фейгина.

Авторы анализируют и вторую сторону указанного процесса — отношение грузинских литераторов к России, к русской литературе и культуре. Трудно назвать такого представителя грузинской советской литературы, который не воспел бы милой сердцу России. Так, Х. Берулава писал:

**Я сердце русское
благодарю. Оно
в меня вселило мужество
и силу,
горячего сочувствия полно,
и радость, и печаль
со мной делило.**

В этих словах высказано общее мнение представителей грузинской советской литературы.

В произведениях советских писателей всесторонне воспроизводились яркие страницы многовековой дружбы двух братских народов («Бесики» А. Белиашвили, «Нейшневская клятва» А. Каландадзе, «Великий Моурави» А. Антоновской и др.). Часто произведения об историческом прошлом перекликаются с настоящим («Бородинский орел» А. Абашели, созданный в грозные годы Великой Отечественной войны). Далее авторы говорят о совместной борьбе братских народов в годы войны, о том, как русские защищали Кавказ, как грузинские воины отстаивали Москву и Ленинград, всю нашу Ро-

дину. Ратным подвигам посвящены прекрасные произведения русских поэтов И. Сельвинского, Н. Асеева, А. Фатьянова и других. Война еще более сблизила советские народы. Это чувство дружбы выразили и грузинские писатели И. Абашидзе, Д. Шенгелая, Х. Берулава и многие другие. Произведения всех названных выше авторов очень разные, но идея в них одна — великая дружба народов. В этом сила советских народов. И примечательно, что первая глава заканчивается такими словами: «Грузинская и русская литературы согреты чувством великой дружбы народов, скрепляющей нерасторжимый союз братских сердец. Пред этим чувством бессильно время и невластны расстояния!».

Мы попытались подробно передать содержание очерка, посвященного грузино-русским литературным взаимоотношениям, потому что он, как уже отмечалось, представляется наиболее характерным для рецензируемой книги и по своему замыслу, и по его воплощению. Именно эти взаимоотношения наиболее многообразны в жизни, наиболее исследованы и широко представлены в рассматриваемом издании. По этой типичной во многих отношениях главе можно получить представление о построении, материалах и направленности других разделов. В таком же творческом ключе освещаются и связи грузинской литературы с литературами других братских народов и народностей Советского Союза.

Правда, многое здесь зависит уже не от авторов, а от самого материала (степени его изученности и, в первую очередь, от уровня литературных взаимоотношений данного народа с грузинским). Однако в принципе именно в таком аспекте конструируются остальные очерки.

В этом море материалов легко выявить общие аспекты литературных взаимоотношений, интересующих И. Богомолова и Р. Миминошвили. Это, прежде всего, произведения грузинских писателей, посвященные братским народам («В Миргороде» Г. Леонидзе, «Свет Севана» С. Чиковани, «В Армении» Т. Табидзе, «Песни о Белоруссии» Р. Гветадзе, «Путешествие в Среднюю Азию» К. Чичинадзе, «Баку» В. Гаприндашвили, «Белорусские рассказы» К. Лордкипанидзе, «Побратимы» И. Мосашвили, «Грузинские песни у Днепра» К. Каладзе, «На земле Казахстана» И. Нонешвили, «Русское сердце» Х. Берулава, «На Украине» Мак. Мрвлишвили, «Латвийская тетрадь» Т. Чиладзе, «Землетрясение, вершины, Джеон» Т. Джангулашвили и т. д.).

Другая группа материалов — произведения писателей братских республик, посвященные Грузии, грузинскому народу. Оказалось, трудно найти в Советском Союзе литератора, который не побывал бы в Грузии и не воспел бы эту жемчужину нашей страны («Будущность» Э. Самуйленка, «Стихи о Грузии» М. Бажана, «Грузии» Х. Гуляма, «Кавказ» И. Байзако-

ва, «Тбилиси» С. Рустама, «Кавказские легенды» А. Ветуолиса, «Вечный Голос» Е. Букова, «Дом брата — мой дом» Я. Судрабкална, «Поэтам Грузии» О. Туманяна и другие). И все же первое место в этом благородном деле принадлежит русским писателям. Многовековые традиции русско-грузинских литературных взаимоотношений, деятельность М. Горького и В. Маяковского у истоков нового периода, а также разных поколений русских литераторов — все это большое дело, требующее специальных исследований, сборников, антологий, которые уже создаются. Вышедший одновременно с рецензируемой работой сборник «Если пелось про это» («Грузия в русской советской поэзии», «Мерани», Тб., 1977) может служить иллюстрацией к первому очерку И. Богомолова и Р. Миминошвили.

Другой характерной чертой книги «Чувство семьи единой» является анализ широкого диапазона материалов. Это не только данные о литературных взаимоотношениях советского периода, но и исторические экскурсы о взаимосвязях древнейших времен, зарождение, развитие, укрепление литературных, исторических, общественных и революционных взаимоотношений до Великого Октября и после. Анализ многообразных материалов, причем не только поэтических, но и эпистолярных, документальных, литературоведческих, исторических и других, — примечательная черта издания. Причем все



1953
191033

эти данные приведены в строгую систему.

Большое место здесь уделяется переводам как произведений грузинских писателей на языки народов СССР, так и произведений братских писателей на грузинский язык.

Можно говорить об идейной и тематической общности, объединяющей 16 разнородных очерков в одну книгу. Л. И. Брежнев говорил: «За полвека существования СССР у нас сложилась и расцвела единая по духу и по своему принципиальному содержанию советская социалистическая культура. Эта культура включает в себя наиболее ценные черты и традиции культуры и быта каждого из народов нашей Родины. В то же время любая из советских национальных культур питается не только из собственных родников, но и черпает из духовного богатства других братских народов и, со своей стороны, оказывает на них благотворное влияние, обогащает их».

Поэтому авторов прежде всего интересует то общее, что объединяет литературы народов СССР. Каждая из них — национальная по форме и социалистическая по содержанию — решает свои художественные проблемы, но общим для всех является жизнь Советской страны, становление нового общества и человека. Отсюда и общность тематики всей советской литературы. Но, решая одни проблемы, обращаясь к одной теме, авторы делают это в различных художественных ключах, по-своему. И все же

и Н. Тихонов, и М. Бажага, и Г. Абашидзе, и М. Турсун-заде, и многие другие создают произведения, являющиеся художественной летописью нашего общества в целом, свидетельствующие об этапах жизни и роста советского общества. Поэтому авторы книги считают: «В произведениях писателей разных национальностей выражено не только братское чувство ко всем народам нашей страны, но и воссоздается единый образ нашей многонациональной великой Родины. «Читайте, завидуйте, я — гражданин Советского Союза!» — провозгласил В. Маяковский. «Чувство семьи единой» — сказал об этом родстве П. Тычина. Действительно, с этим невозможно не согласиться.

Заслуга авторов прежде всего в том, что они попытались (и попытка эта удалась!) воссоздать целостную картину взаимоотношений грузинской литературы с литературами народов СССР. Это первая попытка подобного рода, и ее надо приветствовать. Одновременно книга дает представление о некоторых важных закономерностях развития многонациональной литературы, о взаимоотношениях, взаимодействии и взаимообогащении литератур народов СССР.

Создание труда такого типа и масштаба — большая победа, причем не только литературоведческая, но и политическая. Речь идет об интернационализме в действии. Поэтому мы позволим себе сделать несколько замечаний, высказать ряд пожеланий. Запас проч-



ности книги позволяет сделать это без ущерба для нее. Кроме того, хотелось бы, чтобы при переиздании этого труда (в чем мы не сомневаемся) некоторые места были переработаны. Ведь создали же его авторы по существу новую книгу по сравнению с первым изданием («Дружба братских литератур», «Мециереба», Тб., 1972, на рус. яз.). Подобную переработку мы предполагаем и теперь.

Прежде всего об особенностях книги, определенных количеством и качеством имеющихся материалов. Неравномерность и неравноценность их обусловили тот очевидный факт, что в труде можно нащупать описательные места. Часто встречается в нем перечисление фамилий, произведений, фактов. Некоторые части первого очерка сжаты до предела. Иногда сведения о русско-грузинских и грузино-русских литературных взаимоотношениях выражаются только в перечислении, а о них следовало бы рассказать подробнее. Это положение, идущее от избытка материалов, говорит о внутренних возможностях дальнейшей работы над книгой. Или другой факт. В первом очерке русско-грузинские литературные взаимоотношения представлены шире, чем другая сторона проблемы. А почему? Следовало бы тщательнее продумать эту часть очерка.

С другой стороны, если взаимоотношения грузинской литературы с азербайджанской, армянской, украинской, белорусской имеют

более яркие традиции и соответственно глубже изучены, то литературные взаимоотношения грузинского народа с некоторыми другими народами только начинают налаживаться, развиваться, изучаться. Отсюда — меньшая наличность материалов. Поэтому авторам приходилось несколько «растягивать» имеющийся материал, доводя его до кондиции. Переработка некоторых указанных мест — думается, еще один внутренний резерв будущей работы над книгой.

В очерке «Сыны Амирани» повествуется о связях грузинской литературы с литературами народов Северного Кавказа. Это удачная находка авторов. Но как быть с Юго-Осетией и Абхазией? Ведь они — составные части Грузии и их следовало бы вычленить в самостоятельный очерк.

В книге очень много всякого рода сведений. Все это богатство имен, произведений, дат, явлений политической, литературной, общественной жизни, многочисленных фактов и т. д. требует указания на источники. Конечно, наличие сносок несколько увеличило бы листаж книги, но зато позволило бы сделать ее справочником, откуда многое можно было бы почерпнуть не только в смысле фактов, но и с целью дальнейших разысканий. Конечно, отсутствие указаний на источники идет от типа издания «Мерани» издает научно-популярные, а не научные книги, от адресованности широкому читателю. Но все же жаль, что получилось так, ибо определенная

часть читателей. (а конкретно — литературоведы) будет удовлетворена книгой не до конца.

Наши упреки — скорее пожелания и имеют цель сделать книгу, на которую затрачен гигантский труд, еще более совершенной.

Работа И. Богомолова и Р. Миминошвили наводит на одно принципиальное соображение. Методология и методика сопоставления творчества писателей национальных республик в настоящее время достаточно установлены. Но в связи с всеобщим увлечением типологией, когда исследователи в своих литературоведческих построениях оперируют материалами различных литератур, иногда даже лично непроработанными, подобные материалы часто лишаются главного — в них отсутствует душа.

Порою материалы настолько однородны, что, познакомившись с одной работой, можешь представить себе ориентиры следующей и т. д. Иногда часть материалов кочует из книги в книгу. Таковы, как нам кажется, закономерные издержки всеобщего увлечения типологией. К чести авторов этого труда надо сказать, что каждый очерк о литературных взаимоотношениях грузинской литературы с литературами других народов нашей страны хорошо воспринимается. Более того, при ознакомлении с ними на одном дыхании, подряд даже у специалиста не возникает чувства, что он это уже знает, где-то читал, что этот очерк повторится в последующем и т. д. Отсутствие

единообразия — большое достоинство книги. Мы специально отмечаем ее особенность потому, что даже в работах, выполненных в самых авторитетных учреждениях, выпущенных под грифами самых авторитетных издательств, к сожалению, нередко однолинейность привлекаемых материалов, их приблизительность, непервородность, определенные шаблоны в их систематизации и т. д.

Книга И. Богомолова и Р. Миминошвили полезна как для широкого читателя, так и для большого отряда специалистов, работающих в области литературных взаимоотношений. Сопоставляя творчество писателей братских республик с грузинской литературой, выявляя общие мотивы их творчества, обусловленные нашей эпохой, исследователи делают большое дело как в научном, так и в идейном плане. Но наряду с выявлением общих закономерностей, которые определяются идейной общностью, необходимо уделять соответствующее место и другой стороне этого актуального процесса — тем особенностям различных литератур, которые при всей общности мотивов по-своему, оригинально, в духе национальных традиций решают одни и те же проблемы.

Книга создана на основе трудов классиков марксизма - ленинизма, решений XXV съезда КПСС, выступлений Л. И. Брежнева, материалов по международному воспитанию трудящихся, различных сборников по идеологическим вопросам и исследований

Структура закономерная, но есть в ней нечеткость. Галактион Табидзе, Георгий Леонидзе и Симон Чиквани — наши современники, их голоса звучат еще в ушах многих и многих людей. Но их имена — по праву — уже высечены на скари- желях Мтацминды, тбилисского Святогорска. Их могилы — недалеко от могил Николоза Бараташвили, Акакия Церетели и Важа Пшавела, этюды о которых — на стенах первого, мтацминдского зала.

Раздел «Современники». Второй зал. Здесь — кроме уже упомянутых — еще семь этюдов. Кроме Тициана Табидзе — все их герои живы: Анна Каландадзе, Ираклий и Григор Абашидзе, Карло Каладзе, Шота Нишнианидзе и Михаил Квливидзе. Зал третий — закономерная в этой экспозиции статья о переводах с грузинского.

Итак, четырнадцать этюдов. Четырнадцать? Уже сама эта цифра — четырнадцать — не может не вызвать сонетных ассоциаций, а затем — поскольку цельный этюд несопоставим со строкой — ассоциации с сонетным венком. Но тогда эта же цифра — четырнадцать! — взыскует еще об одном этюде и, быть может, самом главном — пятнадцатом. Не хватает того, что венчает венок, хотя и пишется задолго до первых четырнадцати сонетов. Нет магистрала!

Не хватает — и недостает! — некоего знака интеграла, какого-то сводного или сквозного взгляда критика на грузинскую поэзию, представителям которой — поэтично — он посвящает свою книгу — вернисаж. Взгляда на поэзию, которая, несомненно, и крепла, и развивалась. Концепция же этого раз- вития, в этой книге как нигде уместная, — в ней, увы, почти не проявлена.

* * *

Итак, у этой книги тот недостаток, что она недостаточ- но — книга. Впрочем, это не ущерб, а свойство, ибо и в названии значится — этюды.

Но даже в таком понимании задача, стоявшая перед В. Огневым, была тяжела: русский критик пишет о грузин- ских поэтах, творящих, естественно, по-грузински, то есть на языке, не известном критику. Что может он, глухонемой, по- нять в дремучей стихии непонятных слов? Ничего. И особенно если речь идет о стихах.

Да, ничего не может понять. Но это еще не означает, что как критик он бессилен в этой, казалось бы, отчаянной (с про- фессиональной точки зрения) ситуации. Если он не робок, то у него еще есть несколько — и благодатных! — возможно- стей.

Читая переводы, критик вправе верить переводчику и отнестись к переведенному поэту как к поэту русскому, своему.

³ Магистрал (лат. — руководящий) — в венке сонетов — за- ключительный, пятнадцатый сонет; каждая строка его последова- тельно соответствует первым строкам очередных сонетов.



Тут, конечно, есть проблема адекватности перевода и прочая, и прочая, но то, скажем, утверждение, что Тициан Табидзе — русский поэт тоже — утверждение истинное и правдивое. Возможно, это парадокс, но никак не ложь или абсурд, ибо — тициановские стихи давно уже обжились в русской стиховой стихии и неотъемлемы от русского читательского сознания:

**Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут
 Меня, и жизни ход сопровождает их.
 Что стих? Обвал снегов. Дохнет —
 и с места сдышит,
 И заживо схоронит. Вот что стих...**

Разве можно вырвать из русской поэзии эти гениальные строки? Невозможно. И не нужно. «Дохнет — и с места сдышит... Вот что стих» — это сказано уже по-русски!

И точно так же с другими поэтами и другими стихами. Та же мертвая хватка языка уже никогда не отпустит «на родину» немолчных цикад из трехстиший Мацуо Басе, бодлеровского альбатроса или ворона из поэмы Эдгара По. Никогда уже русская поэзия не согласится расстаться, скажем, с этими строчками Гете —

Остановись, мгновенье, ты прекрасно!..

— или с этими, петрарковскими —

**Промчались дни мои, как бы оленей
 Косящий бег...**

Так называемые переводчики! Спасибо вам! Ломая карандаши — точите и пробуйте новые!..

Этим путем Владимир Огнев не пошел. К грузинским стихам он не относится как к русским и смотрит на них из-за Кавказа, как из-за забора (зато он остановился на комплексе проблем, связанных с самой процедурой перевода, о чем мы еще скажем ниже). Он выбрал другой из возможных в его ситуации плодотворных путей.

* * *

Важнейший для Огнева эмпирический уровень — уровень подстрочника. Именно на этом уровне сталкивается он со стихом — еще не остывшим грузинским и еще не пахнущим русским. И то, что в тексте этюдов цитаты (и то далеко не всегда) даются уже на уровне русских переводов — не более чем поправочный коэффициент, свидетельствующий об учете критиком читательских привычек. Такой подход позволяет автору, отказавшись от анализа поэтического — значащего и звучащего — слова как такового, довольно бережно сохранить так называемый план содержания стихотворения, сам по себе хрупкий. Предметом критического рассмотрения



становится прежде всего идеологическое и семантическое наполнение или протекание вещей. Кроме того, при «близкостности» «черновика»-подстрочника с «беловыми» переводческими версиями можно проследить сам по себе захватывающий «путь потерь и компенсаций», как осмысливал существо художественного перевода А. Цыбулевский

Весьма возможно, что такой вариант выбран Огневым еще и потому, что сам он — безусловный знаток грузинской литературы, ее достойнейшей истории и перипетий современности. Все это прекрасно видно из его этюдов — так же как и то, что он искренне и по-дружески любит Грузию, а как читатель высоко ставит ее поэтов: «Грузинские поэты высоко и контурно видят — сказывается высота...» (с. 70).

Таким образом, этот путь для русского критика Владимира Огнева — неслучаен и достаточно органичен. Но есть у этого пути достоинства, и не зависящие от личности критика. Они связаны с самой природой подстрочника, прекрасно выявленной в диссертации русского тбилисского поэта Александра Цыбулевского: «...Подстрочник — это не только прозаическая копия стихотворения, но и его внутренний образ, или точнее — прообраз. Можно утверждать, что любое стихотворение и в подлиннике существовало и существует на уровне подстрочника, что оно неминуемо, прежде чем осуществиться, проходит стадию подстрочника. Подстрочник — своего рода общее состояние и подлинника, и перевода...»

Подлинник на определенном этапе своего создания не может быть ничем иным, как подстрочником, очень обедненно определяемом как скелет, план, абрис будущего...¹.

Именно свойство подстрочника быть «общим состоянием и подлинника, и перевода» лежит в основе «этиодной» методологии Владимира Огнева. И не только его одного. Почти одновременно с огневской книгой в ереванском издательстве «Советакан грох» вышла близкая по типу книга «Цена гармонии» — другого известного русского критика — Станислава Рассадина, посвященная армянской поэзии и ее «встречам» с поэзией русской.

Кстати сказать, оба критика прекрасно сознают изначальные трудности своего положения. В рассадинском предисловии, например, говорится, что характер книги «определен тем простым фактом, что она — книга русского критика, пишущего на «армянскую тему». Специалистом ему трудно себя признать — мешает незнание языка, — однако у каждого положения есть свои особенности (те, кто посмелее, объявляют их преимуществами). В данном случае — та, что взгляд на поэзию, культуру, историю Армении брошен из инациональной среды. Он оброс своими ассоциациями, он подготовлен опытом русской поэзии и культуры».

Владимир Огнев в своем пятом этюде, посвященном книге Г. Цуриковой о Тициане Табидзе, пишет об этом же не

¹ А. С. Цыбулевский. Русские переводы поэм Важа Пшавела (проблема, практика, перспектива), «Мецниереба», Тбилиси 1974, с. 40—41.

наименование
14.09.59
012.01033

сколько более трагически: «Грузинская поэзия знакома нам больше не в критике, а так сказать, в «натуре» — в талантливейших русских переводах. Меньше повезло ей в комментариях и трактовках. Лучшее, что я знаю пока, — свидетельства переводчиков-практиков (последнее и ярчайшее свидетельство — заметки Владимира Леоновича о Галактионе Табидзе — «Переводчик, сломай карандаш...». — напечатанные в майском номере «Дружбы народов» за 1977 г. — П. Н.). Русская профессиональная критика в долгу перед этим удивительным явлением грузинской музыки. Языковой барьер мешают и поэтам. Но для русского критика он серьезнейшее препятствие. В поэзии — все — слово. Анализ иноязычной поэзии без знания языка — смелая, иной раз — почти дерзкая попытка решить проблему квадратуры круга.

Любой, даже частный успех тут — заслуга немалая».

В книге самого Огнева таких успехов — тонких наблюдений и обобщений, точных сопоставлений и аналогий (плюс ощущение эпохи, в которой жил или живет поэт) — более чем достаточно, чтобы утверждать: книга удалась, она интересна как для грузинских читателей — как «взгляд из интонациональной среды», — так и для русоких. Причем для многих последних эти три небольших вернисажных зала могут оказаться гостеприимным вестибюлем фундаментальной галереи грузинской поэзии.

* * *

Рассуждения о художественном переводе — важный ингредиент книги В. Огнева. И это не только этюд-раздел, но и отдельные фрагменты в других разделах. Природа перевода, его точность — дело спорное, что лишний раз подтвердили недавние о нем дискуссии в «Дружбе народов» и «Литературной газете».

Огневская позиция тут диалектична и гибка. С одной стороны, «переводы — «свои» стихи лишь до известной степени» (с. 147), а с другой — «переводчик — тоже личность. Уйти от себя совсем — никому не дано» (с. 148). Таковы тезис и антитезис.

В тех же «Заметках о переводе» он пишет: «Разноязычие не помешало индивидуальностям тянуться к родственным дарованиям, обогащая их собой и себя ими... Перевод — новое качество, где сплавлено воедино общее достоинство двух индивидуальностей как нечто самостоятельное третье. Вот что такое точность перевода в неплюском, небуквальном смысле» (с. 144, 149). Таков огневский синтез проблемы перевода.

Среди частных наблюдений о переводе особенно интересно вот это, извлеченное из этюда «Осуществиться!..» (о поэзии Шота Нишнианидзе): «...Кто знает, не отличиями ли русских поэтов звучат порою для нас индивидуальные голоса грузинской классики? Во всяком случае, не в первую ли очередь — их различиями? Нет, конечно, я не хочу сказать этим,

что самобытность художника непереводаима. Но труднее дается она переводчику, чем родовые качества поэзии того или иного языка оригинала. Мы и в сухой графической Чикованидзе, и в бурном синтаксисе Леонидзе, и в вили видим сначала грузина, а потом уже индивидуальный человеческий характер. Нам бросается в глаза то типическое, что не свойственно русскому художественному миру (выделено мной. — П. Н.); яркий пример справедливости этой мысли — русское восприятие лаконической японской поэзии. — П. Н.), что, в силу своей экзотичности... затмевает различия внутри ряда иноязычных индивидуальностей, выдвигая на первый план подчеркнутые (подчас жирной чертой) особенности общенациональной поэтики» (с. 131). Это тонкое замечание весьма актуально: теоретическая проблема «точности» перевода со временем, возможно, будет вытеснена проблемой близости перевода или, что то же самое, разноликости. А. Цыбулевский показал в своей диссертации (на примере разных переводов из Важа Пшавела), что истинно поэтический подлинник стимулирует неодинаковые и взаимодополнительные переводы-прочтения. Разные концепции. Но каждый ли перевод концептуален? Разве не бывает среди них бездумно-гладких переложений, запечатлевших в себе (и то в лучшем случае!) лишь издержки и помарки переводческой скорописи? Иными словами, разве не возможно известное количество, если будет позволено так выразиться, минеральных переводов и как же оные надежно отличать от подлинных переводов-концепций? В. Огнев ставит эту острую проблему — одним из первых.

* * *

Подход к иноязычным стихам как к подстрочнику требует незаурядного критического мастерства. И Владимир Огнев демонстрирует это мастерство на всем пространстве своей книги. У каждого из поэтов, о которых пишет, он выявляет преобладающие тематические течения — так сказать, идеологические магистрали их творчества. Он обнажает узловые проблемы и высвечивает наиболее интегральные свойства некоторых из них (например, такие качества лирики Каладзе, как рельефность, органичность, историзм и т. д.). Практически о каждом из четырнадцати поэтов Огнев бросает острые, неожиданные, порой мимолетные, но прекрасно запоминающиеся замечания.

Вот о Бараташвили: «...В личности Бараташвили была несвойственная его возрасту зрелость. Временами, кажется, он так далек от своего окружения, что только боязнью одиночества — обратная сторона душевной открытости — заставляет его как бы насильно подделяваться под тон светской болтовни» (с. 5—6). Прекрасно и это наблюдение «...Много писали о пессимизме Бараташвили, но это был, по сути дела, реализм чувства (выделено мной. — П. Н.), постепенно завоевав-



ший себе место под солнцем грузинского поэтического романтизма» (с. 33).

Вот критик дает удивительно емкую и точную характеристику Важа Пшавела: «Исполинская поэзия Важа Пшавела знаменательна редким сочетанием первичности и цельности чувств, эпической простоты с философской универсальностью противоречий между человеком и природой... Природа у Важа в «Змеееде» впервые в поэзии заговорила голосом жертвы» (с. 43, 52).

Вот о Галактионе Табидзе: «Галактион, по-моему, был для Грузии сразу Блским и Маяковским. Он удесятеренно прожил в двух эпохах сразу... Галактион артистичен, как никакой другой из поэтов, мне известных. Но артистизм его не изощрен, а здоров и естествен» (с. 59, 61).

Вот еще несколько штрихов о других поэтах. Тициан Табидзе — «во власти стихии жизни, ее непредвиденных и нерегулируемых порывов» (с. 69); Симон Чиковани — «выдерживает вино поэзии в глубоких подвалах, следит, чтобы оно «дозрело»...» (с. 69); у Георгия Леонидзе — «жест крупный, богатырский: тень орла накрывает горы» (с. 72); в лирическом герое Карло Каладзе преобладают — «чувство жизнелюбия, могучего добродушия и полнейшей свободы». Размышляя об Анне Каландадзе, критик обобщает: «...только плохие стихи бывают «беспольными». Стихи Анны Каландадзе хороши и потому, что поэт не старается «басить»...» (с. 118). И так далее.

Однако чисто профессиональной доблести не стало бы для общепоэтических и общегрузинских обобщений, на которые иногда идет Огнев. Тут нужна искренняя любовь и исторические знания, и еще нужен дар интуиции, сплавивший бы с ними ту информацию, что открыта для ищущего взгляда в подстрочнике. Все это, видимо, у Огнева есть — синтез ему податлив.

Вот фрагмент, начинающий посвященный Григолу Абашидзе этюд «...Покой нам только снится»: «В природе грузинской поэзии — углубленная созерцательность. Лучшие произведения грузинской музыки отличает тонкое умение запечатлеть в пластических образах жизнь сердца, трепет листьев, игру света и тени. Это не то чтобы философичность — нет, мягкость, изменчивость настроений, чувственная основа мироощущения, собственные грузинскому характеру, редко гармонирующие с тягой к абстрактным понятиям, силлогическим построениям ума. Грузинской поэзии ближе изящество стиха, художественная тонкость, отчетливый рисунок формы. В ней лирическая стихия преобладает над строгой логикой объективного сюжета, языческое жизнелюбие — над пафосом необходимости» (с. 107).

Вот еще один пример — из посвященного С. Чиковани этюда «Песня лозы», одного из лучших в книге: «Психический склад нации связан тысячами невидимых нитей — через язык — с условиями жизни, в том числе и географическими... Грузинские поэты далеко и контурно видят — называется высота...»

Читая грузинских поэтов, русский человек не может не заметить, что метафоричность речи является почти неизменно

ным средством поэтической речи. И в этом случае объяснение кроется в жизни самого языка, его образной природы. Народная грузинская речь богата идиоматическими выражениями, у нее метафорическая природа. Вот почему несколько возвышенным, даже пышным кажется нам бытовой язык грузина» (с. 70).

Между прочим — как бы на полях последней цитаты — пришло в голову: среди обстоятельств, способствовавших успеху, точнее триумфу пастернаковских переводов с грузинского, не последним было и то, что сам Пастернак в русской поэзии — несомненный король метафоры. «Конметафоричность». Слагаемое конгенальности.

* * *

Но все-таки Владимир Огнев — прежде всего критик русский. И аналогии, параллели, сближения грузинского материала с русской поэзией — для него естественны и, быть может, неизбежны. И не как следствие некоей специализации, но еще и во имя высокого тяготения и обогащающего взаимointереса братских литератур. Недаром Станислав Рассадин свою уже упоминавшуюся книгу «Цена гармонии» написал именно под этим углом зрения. В этой тонкой, композиционно тщательно продуманной работе наиболее конструктивны — именно «встречи» русских и армянских поэтов, встречи через века, через языки и дали. Не случайно статьи «Возвращение Григора Нарекаци» и «Возвращение Евгения Баратынского» перекликаются уже в названиях; не случайно статья об Антоне Дельвиге соприкасается с размышлениями о Кучаке, а статья об армянских стихах Семена Лицкого — с разбором блоковских переводов из Исаакяна и т. д.¹ Слишком много общего, родственного у поэтов разных народов, и потому-то так желанны и необходимы эти дорогие встречи.

С неменьшим желанием и ответственностью аналогизирует и Огнев. В наиболее тщательно сверенной с историческим контекстом статье о Николозе Бараташвили параллель с Лермонтовым — «но не юным, мятущимся и едким, а поздним, всевидящим и горьким» — очевидно оправдана. Так же как и сближение Акакия Церетели с Некрасовым: оба, реализуя собственные — обновляющие — поэтики, сознательно шли на снижение стиля своих вещей, вплоть до нарочитого пародирования высоких и привычных образцов (этому принципиальному аспекту творчества Некрасова несколько превосходных страниц посвятил Юрий Тынянов). Огневым, вслед за други-

¹ Здесь не место подробно останавливаться на этой незаурядной книге. Вместе с «Грузинскими этюдами» В. Огнева она образует несомненное — и новое! — типологическое единство. Интересным и поучительным мог бы оказаться сопряженный анализ этих двух книг.

ми исследователями, фиксируются и существенные параллели между Галактизмом Табидзе, с одной стороны, и Маяковским и Блоком — с другой.

Но не менее любопытны и несовпадения. Такой, например, самородный эпик, как Важа Пшавела, похоже, не имеет «двойника» в русской поэзии. В России все самородки — от Кольцова до Рубцова — лиричны, даже сентиментальны, а все эпики — несамородки.

Несомненно, что все эти аналогии, все подобия и сходства (а также несходства!) — все эти встречи представителей двух великих поэзий — помогут неслучайному читателю «Грузинских этюдов» Владимира Огнева. Помогут освоиться, углубиться, возможно, заложить свое мнение. Книга Огнева — один из немногих написанных по-русски путеводителей по грузинской поэзии. Она ценна, она долгожданна, ибо дружба и взаимное тяготение грузинских и русских поэтов вот уже скоро справят двухсотлетний юбилей...

* * *

...Над прекрасным городом — прекрасное полуденное солнце. Между ними — величественно распластавшаяся гора Мтацминда. Святая гора. Пантеон.

Дух Руставели витает над ребристыми куполами, великий дух великой литературы. Под камнями и плитами — те, кто так дорог грузинскому сердцу...

А еще ниже — великий русский — Грибоедов. Знак доверия и залог дружбы.

Смертельно ссыльный посланник заснул здесь навечно бессменным послом русской словесности. Послом и заложником — вот уже два века все нарастающей дружбы.

Ноябрь, 1977.

„Литературной Грузии“

**«ВИТЯЗЬ В ТИГРОВОЙ
ШКУРЕ»**

НОВОЕ ИЗДАНИЕ бессмертной поэмы великого Руставели осуществлено издательством «Мерани». Книга вышла на русском языке в переводе ученого-руствоведолога профессора Шалвы Нуцубидзе. О его труде в предисловии, написанном академиком А. Барамидзе, говорится, что он «отличается от других переводов близостью к оригиналу... Правильно передает на русском языке смысловые оттенки стихов Руставели ...удерживает в переводе все богатство его художественного слова и даже музыкальное звучание».

**«ЦОТНЕ,
ИЛИ ПАДЕНИЕ
И ВОЗВЫШЕНИЕ ГРУЗИИ»**

ЭТО широкое историческое полотно посвящено жизни Грузии XIII века. Автор его — поэт Григол Абашидзе хорошо известный как грузинскому, так и русскому читателю не только своими прекрасными стихами, но и впечатляющей исторической прозой — описывает в этом романе героическую борьбу грузин-

ского народа против иноземных завоевателей. В центре повествования — образ Цотне Дадиани, патриота, чей подвиг во славу родины живет в веках.

Книга вышла на русском языке (изд. «Мерани»).

**«ЛИТЕРАТУРНАЯ
БОГЕМА СТАРОГО
ТБИЛИСИ»**

С ЭТИМ своеобразным произведением знаком и читателя издательство «Мерани». Издание «Литературной богемы старого Тбилиси» на русском языке — еще один шаг в освоении литературного наследия народного поэта Грузии Иосифа Гришашвили — большого знатока и любителя городского тбилисского фольклора. Тепло, с любовью пишет он об ашугах — исполнителях народных стихов и песен.

**«ЕСТЬ В ПОЛЕ
ОЗЕРО»**

ЭТОТ СБОРНИК озаглавлен по названию одного из вошедших в него рассказов известного грузинского писателя Георгия Натрошвили. Некоторые из них посвящены теме Великой



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«МЕРАНИ»

Отечественной войны, участником которой был автор этой книги, другие — современной колхозной деревне. Писатель решает в своих произведениях насущные проблемы современности.

Помимо рассказов «Я — одиннадцатый», «Есть в поле озеро», «Страна волшебников», «И снова весна на Иори», «Солдатское сердце», «Сон», «Страх» и других, в сборник, вышедший на русском языке с грифом издательства «Мерани», включена пьеса «Последняя ночь поэта» — о великом грузинском поэте-романтике Николозе Бараташвили.

«ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ВРЕМЕНИ»

ТАК НАЗВАН выпущенный в конце минувшего года издательством «Сабчота Сакартвело» на грузинском языке сборник стихов и поэмы известного греческого поэта и общественного деятеля Янниса Рицоса, удостоенного в мае 1977 года Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Как сказано в предисловии поэтессы Изы Орджоникидзе, переведшей на грузинский язык вошедшие в книгу произведения, «каждый истинный поэт связывает свою судьбу с судьбой своего народа и родины... Когда XX век станет достоянием истории, наследие замечательного поэта Янниса Рицоса будет воспринято читателями бу-

дущего таким же близким и необходимым, как и в наши дни данные много веков назад нестареющие книги его далеких предков».

Лауреат нескольких международных премий, автор около 60 поэтических сборников, множества эссе и переводов, Яннис Рицос неизменно рассказывает в них о жизни простых людей, их горестях и надеждах, отображает духовный мир современного человека, воспекает свободу людей и борьбу народов за независимость.

«Заметки на полях времени» — первая книга греческого поэта, вышедшая на грузинском языке.

«ГРОМОВЫЙ ГУЛ»

ТАК ОЗАГЛАВЛЕНА новая историческая повесть писателя Михаила Лохвицкого, знакомого широкому читателю по изданной «Политиздатом» в серии «Пламенные революционеры» книге об известном грузинском революционере Ладо Кецохвели «Выстрел в Метехи». Выпущенная издательством «Мерани» повесть «Громовый гул» рассказывает о дружбе и братстве между народами России и Кавказа. В основе произведения — многие документы и воспоминания, действительные события, происходившие на Северном и Западном Кавказе в 60-е годы прошлого столетия.


«ТБИЛИССКИЕ СЕРЕНАДЫ»

НАЗВАННЫЙ так новый сборник стихотворений Хута Бериулава знакомит читателя с последними произведениями грузинского поэта, хорошо знакомого не только грузинскому, но и русскому читателю. На этот раз стихи Х. Бериулава представляют в своем переложении русские поэты, много работающие над переводом современной грузинской поэзии: К. Симонов, С. Куняев, Ю. Ряшенцев, В. Соколов, Б. Окуджава, Е. Николаевская, М. Синельников, Д. Самойлов и другие.

На книге — гриф издательства «Мерани».

«ПОСЛЕ СПЕКТАКЛЯ»

ЭТОТ сборник стихов Дилара Ивардава — его первая встреча с русским читателем, осуществить которую помогли издательству «Мерани» поэты Владимир Луговой и Илья Дадашидзе.



Лирический герой — наш современник. Глубочайший интерес к героическому прошлому и настоящему своей родины пронизывает все им написанное. Дилар Ивардава — автор нескольких поэтических сборников. В 1975 году вышла его книжка «Лед тронулся», явившаяся итогом его поездки на БАМ по командировке ЦК ЛКСМ Грузии и республиканской молодежной газетой «Ахалгазрда комунисти».

«ПРИГОРШНЯ СВЕТА»

ЭТО — вторая книга стихов Отара Шаламберидзе на русском языке, подготовленная издательством «Мерани». Над ее переводом работали В. Равич, Р. Казакова, А. Преловский и С. Сорин, постаравшиеся донести до русского читателя плод зрелых размышлений поэта над жизнью, над проблемами современности, передать всю остроту ощущения его личной ответственности за все происходящее.

Уточнение

В ЖУРНАЛЕ «Литературная Грузия» № 8 за 1977 год была опубликована запись выступления Марины Цветаевой на чествовании К. Бальмонта по случаю 50-летия его литературной деятельности, предоставленная редакции дочерью поэта Н. К. Бальмонт-Бруни. При подготовке к печати текста этого выступления редколлегией были сделаны некоторые сокращения.

Уже после выхода журнала в свет редакция получила письмо секретаря комиссии по литературному наследию Марины Цветаевой А. Саакянц. Она сообщила, что полученный «Литературной Грузией» текст не является русским подлинником речи М. Цветаевой (который вообще не сохранился), а лишь обратным переводом с газет-

ной публикации тех лет, сделанной на сербско-хорватском языке. Иными словами, подчеркивала А. Саакянц, в опубликованном «Литературной Грузией» тексте отдельные неточности и купюры не являются случайными, ибо полученный редакцией перевод является рабочим, черновым и опубликовывать его следовало лишь с оговоркой, что это — перевод статьи, не сохранившейся в подлиннике.

Чтоб у людей, специально занимающихся изучением творчества Марины Цветаевой была полная ясность в обстоятельствах, изложенных выше, редакция «Литературной Грузии» и сочла необходимым опубликовать настоящее уточнение, а также свою благодарность А. Саакянц за ее советы.

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «ВИТЯЗЯ»

◆ Сданы в печать первые два тома академического издания бессмертного произведения Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Они подготовлены комиссией по установлению академического текста поэмы при президиуме Академии наук Грузинской ССР.

До наших дней дошло большое количество рукописей изданий поэмы, однако комиссия взяла за основу исследований 50 рукописей, относящихся к XVII—XIX векам. Помимо установления академического текста, она рассмотрела приемы создания художественных образов, исторические реалии, мировоззрение самого Руставели.

Академическое издание «Витязя» будет выпущено в десяти томах. В первые четыре войдет поэма с различными вариантами и текстологическими замечаниями. Следующие три тома составят словарь слов, встречающихся как в основных, так и во вставных строфах поэмы, даны их толкования, учтены все случаи их употребления.

ЛАУРЕАТЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ

◆ Президиум Союза писателей Грузии назвал лучшие произведения, опубликованные в 1976—1977 годах, и присудил им ежегодные литературные премии.

В области поэзии премии присуждены поэтессе М. Кахидзе — за цикл стихов и Л. Сулаберидзе — за поэму «Сказание, прочитанное на глыбе».

Лучшими прозаическими произведениями признаны рассказ «Жалоба» Т. Бибилури и роман «Сон Сириачконского леса» О. Куправа (посмертно).

В области драматургии премии за пьесу «Когда город спит» удостоился драматург А. Чхайдзе.

Наградами отмечены критические очерки Э. Маградзе, критические статьи Г. Мерквиладзе и Т. Чиладзе.

В жанре публицистики премии присуждены К. Лордкипанидзе — за книгу «Что случилось в Абаша?» и Г. Натрошвили — за публицистические статьи.

Литературной премии имени Галлактиона Табидзе за лучшее стихотворение года удостоены Ш. Нишнанидзе — «Зов» и Т. Чантурия — «Чья рука?»

РАЗГОВОР О ТВОРЧЕСТВЕ МОЛОДЫХ

◆ В Москве в Центральном доме литераторов состоялось заседание, обсуждавшее творчество молодых грузинских поэтов и прозаиков. Оно было организовано по инициативе Совета по грузинской литературе при Союзе писателей СССР. Вступительным словом заседание открыл председатель Совета по грузинской литературе при СП СССР К. Симонов.

С докладом о становлении и путях развития современной грузинской литературы, о работе с молодыми литераторами выступил критик и литературовед Г. Гвердцители. Он подверг анализу творчество молодых прозаиков Д. Давлианидзе, Н. Шатаидзе, М. Казиева, поэтов В. Чхиквадзе, Д. Беднианидзе, Р. Смыра, Г. Одишария.

В обсуждении приняли участие Е. Евтушенко, А. Рекемчук, В. Перцов, И. Гринберг, Г. Ломидзе, М. Синельников, Ю. Ряшенцев, Е. Николаевская, В. Огнев, И. Тарба, Дж. Чарквиани. Принято решение провести в Тбилиси встречу писателей, кинематографистов, журналистов, на которой широко обсудить вопросы расширения связей литературы и искусства, совместной работы творческих союзов.

ГРУЗИНСКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ

◆ С каждым годом за рубежом растет интерес к грузинской литературе. Шире становится круг ее читателей, которым предоставляется возможность ближе познакомиться с лучшими произведениями классиков, произведениями современных авторов.

Многие зарубежные фирмы и издательства готовят к опубликованию книги грузинских писателей. Так, в Испании и Югославии будут изданы рассказы Г. Рчеулишвили. В Швеции выходит в свет сборник рассказов Г. Гегешидзе «Расплата», в Чехословакии — произведения М. Джавахишвили, К. Лордкипанидзе, Г. Гегешидзе, стихи и рассказы А. Сулакаури. В Югославии заканчивается работа над антологией грузинской поэзии. Увидят свет и грузинские народные сказки, альбом «Сокровища Музея искусств Грузии»... Расширяются контакты с книгоиздательскими фирмами Италии, США, ФРГ, Франции...

В ГОСТЯХ У СТУДЕНТОВ

◆ В Тбилисском государственном университете состоялось заседание научно-творческого кружка студентов-переводчиков, на которое был приглашен председатель секции перевода Союза писателей Грузии Т. Чхенкели. О практической деятельности студенческого кружка рассказал его научный руководитель доцент К. Бурджанадзе.

Затем был дан анализ творческой деятельности Т. Чхенкели, отмечены достоинства его перевода «Одиссей» Гомера, осуществленного совместно с Э. Кикнадзе.

Со своими новыми переводами собравшихся познакомили студенты IV курса Д. Гургенидзе, М. Челидзе, Н. Тателадзе.

На заседании выступил декан филологического факультета ТГУ,

профессор Э. Хинтибидзе. А недавно в Союзе писателей Грузии состоялась новая встреча со студентами-кружковцами.

ПАМЯТИ ВИДНОГО ГРУЗИНСКОГО КРИТИКА

◆ Бесо Жгенти — выдающийся грузинский критик и общественный деятель — внес неоценимый вклад в развитие литературы нашей республики. Он стоял у истоков национальной критической мысли, много сделал для ее развития. Б. Жгенти созданы фундаментальные труды, в которых с позиций социалистического реализма решены актуальные проблемы грузинской советской литературы.

В целях увековечения памяти Бесо Жгенти Совет Министров Грузинской ССР принял специальное постановление. Имя критика решено присвоить школе села Квацихе. На доме по улице Пурцеладзе № 12 в Тбилиси, где жил Б. Жгенти, будет установлена мемориальная доска. Его имя присвоится одной из улиц столицы Грузии.

На филологическом факультете Тбилисского государственного университета учреждается стипендия имени Б. Жгенти.

На могиле критика в Пантеоне общественных деятелей и писателей в Дидубе будет установлен его бюст.

Принято решение издать избранные труды Б. Жгенти.

ЮБИЛЕЙНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

◆ В президиуме Академии наук Грузинской ССР под председательством президента АН республики академика Е. Харадзе состоялось заседание юбилейной комиссии, посвященное 1500-летию древнейшего памятника грузинской литературы «Мученичество Шушаник» Якова Цуртавели.



Об авторах

Этого номера

ГВЕРДЦИТЕЛИ Гурам Евстафьевич. Род. в 1930 г., кандидат филологических наук, грузинский критик и литературовед. Печатается с 1955 года. Автор ряда монографий и сборников литературно-критических статей «Образ современника», «Литературные портреты, эскизы, письма», а также многих статей и рецензий. Издательство «Мерани» выпускает в свет его новую книгу «Одоленная высота».

ДОЧАНАШВИЛИ Гурам Петрович. Род. в 1939 г., грузинский писатель. Печатается с 1961 года. В 1966 году вышла его первая книга «За горой». Автор сборников рассказов «Шаг», «Веселый холм», «Дело», «Рассказы» и др. В 1975 году вышла в свет первая часть его романа «Лучший наряд», а в 1976 году в Москве — первый на русском

языке сборник рассказов писателя «Там, за горой».

ДУМБАДЗЕ Нодар Владимирович. Род. в 1928 г., прозаик, драматург и поэт. Автор широко известных романов: «Я, бабушка, Илико и Илларион», «Не бойся, мама!», «Я вижу солнце», «Белые флаги», множества рассказов. Произведения Н. Думбадзе переведены на языки братских народов СССР, издаются за рубежом. Лауреат премий ВЛКСМ и имени Шота Руставели.

КВЛИВИДЗЕ Михаил Георгиевич. Род. в 1925 г., грузинский поэт. Окончил Тбилисскую Академию художеств. Печатается с 1944 г. Автор многих поэтических сборников. Недавно в издательстве «Мерани» вышла новая книга поэта «Стихотворения».

КИРЮХИН Александр Васильевич. Род. в 1932 г., полковник Советской Армии. Редактор газеты «Ленинское знамя» КЗакВО. Автор книг «Люди в серых шинелях», «Ленинским путем», «Вторая ночь», «Тревоги бывают ночью». В годы военной службы в ВНР публиковал свои произведения в местных изданиях на венгерском языке.

ЛЕОНОВИЧ Владимир Николаевич. Род. в 1933 г., русский поэт, автор сборника стихов «Во имя», многих публикаций в центральной и республиканской прессе. Плодотворно работает в области перевода грузинской поэзии, в частности Галактиона Табидзе, на русский язык.

МАРГИАНИ Реваз Акакиевич. Род. в 1916 г., грузинский поэт. Первый сборник «Стихи» вышел в 1940 году. Автор многих книг. Особенно популярны последние сборники его стихов «Лилэ», «Восхождение», «Встреча с весной в снегопад», «Стихи последних лет». Произведения Р. Маргиани переводились на языки народов СССР и иностранные языки.

НЕМИРОВА Майя Александровна. Участница Великой Отечественной войны. Собственный корреспондент газеты

«Советский патриот» по республикам Закавказья. Автор книг «Секретное дело вермата», «Жизнь на волоске», «Пятьсот шагов до Родины», «Сквозь годы на крыльях», «Во имя жизни» и др.

НЕРЛЕР Павел Маркович. Род. в 1952 г., автор нескольких литературоведческих и критических работ.

ПАИЧАДЗЕ Галактион Афанасьевич. Род. в 1915 г., ветеран Великой Отечественной войны, гвардии подполковник в отставке. Заслуженный работник культуры Грузинской ССР. Его фронтовые воспоминания публиковались в прессе, вошли в сборник воспоминаний «В боях за Родину».

ПОРАКИШВИЛИ Нодар Леванович. Род. в 1933 г., кандидат филологических наук, доцент, автор научных работ в области литературных взаимосвязей, в частности грузинско-украинских, а также ряда публикаций в литературной периодике.

РИЖИНАШВИЛИ Ушанги Ильич. Род. в 1940 г., кандидат философских наук. Автор книги «Три солнца» и моно-

26-78

78-410

საქართველოს
ბიბლიოთეკები

Цена 40 коп.

ИНДЕКС 76117



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ

საქ. კპ ცკ-ის გამომცემლობა